

Т 741692  
ЕФИМ ТВЕРДОВ

00



НА ЛЕСНЫХ  
ТРОПИНКАХ

ЕФИМ ТВЕРДОВ



# НА ЛЕСНЫХ ТРОПИНКАХ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1973

1741692

Автору этой книги, Ефиму Григорьевичу Твердову, живущему в г. Вытегре Вологодской области, в 1973 году исполняется 70 лет.

В своих рассказах и очерках Е. Твердов тепло и лирично повествует о природе Заонежья, о людях этого замечательного и своеобразного края: колхозниках, рыбаках, охотниках. Автор много путешествовал по лесам, озерам, рекам, и его произведения насыщены интересными наблюдениями. Любовь к природе, бережное отношение к ее богатствам — основная тема книги.

---



## НА ЗИМОВЬЕ СПОРНОГО ЛОГА

1

**С**КОРЫМ поездом Ленинград—Архангельск я приехал на станцию Вожега. Был уже вечер. Меня встретила пристанционная березовая рощица и проводила в павильон вокзала. Автобусы в Тигину, куда мне нужно было попасть, не ходили из-за бездорожья, а взять на себя весь волок, да еще ночью, я не решился: мало ли что в пути может случиться. В лесной глуши не в уютной избе, зверя встретишь. Ночь решил провести в вокзале, благо там круглосуточно работал буфет и за чашкой чая можно коротать время. Войдя в павильон, я не успел положить чемодан, как услышал знакомый голос:

— Григорич! Мила-а-ай ты мой! Григорич! Да как же так? Встреча-то какая!

По голосу я узнал Дениса Петровича Луконина, моего однокашника, друга детства.

Приветственно растопырив огрубевшие от работы руки, будто еловые сучья, он шел ко мне навстречу, и мы с ним, по старому русскому обычаю, троекратно поцеловались.

— Вот-таки дождался, а как ждал, как ждал! Думал, что ты ранней осенью припыхаешься в родные края, и мы с тобой... — Денис не договорил, повернулся в сторону стола, где, по всей вероятности, он занял место. — Да что мы стоим-то? Право слово, стоим и людей смешим, сядем-ка, Григорич, за стол-то и почнем...

А что «почнем», он опять не договорил, усадил меня на стул, девушку из буфета пальцем поманил, ей тихонечко сказал:

— Две по малой да закусочки поплотней, ну что ль, котлет аль там пельменей. Есть? Ну, тогда давай пельменей два по два, значит, четыре порции.

Пил Денис по глоточку и все морщился. Выпив стопку, положил ее на стол вверх доньшком, улыбнулся в черные усы, разгладил бородку.

— Это, Григорич, мы выпили за встречу, а сейчас полагается пропустить по малой за волок, будет теплей по нему версты считать. Выпьем и айда на волок, а то моя карюха заждалась, думает, куда ее хозяин делся. А он, вишь, шельма, винцо попивает, горло прополаскивает. Ну, ну, Григорич! Не отставляй! Я, брат, свою норму понимаю и ее не перешагиваю.

Пришлось пойти на уступки Денису. Потом я хотел расплатиться с буфетчицей. Денис нахмурился, отобрал у нее мои деньги и, положив их на стол передо мною, с укором сказал:

— Нет и нет, Григорич! Уволься! Платить буду я, а не ты! Вот весь мой сказ и никаких гвоздиков. Мы нынче не из кулька в рогожку переворачиваемся, живем, слава богу, не тлеем.

Рассчитавшись, довольный Денис, не торопясь, надел ватник, натянул шапку:

— Поехали, Григорич, поехали, милай!

Шесть часов мы ехали волоком до Тигины. Дорога была грязная, вся в колдобинах. Первая пороша, выпавшая ночью, таяла на глазах, образуя в колеях лужицы. Колеса двуколки нудно скрипели, а карюха не торопилась, выбирала, где ей полегче да посуше везти двуколку и седоков. Денис весь волок молчал, и я слышал одни отрывистые слова: «Ну, шландай чуток правей, вот так, поторапливайся». И только тогда, когда миновав Царев Бор, карюха подняла нас на пологую Пьяную горوشку, Денис с чувством гордости, весело крикнул:

— Гляди-кось, Григорич! Вот откуда начинается моя и твоя Родина! С Тигины она начинается! Ишь, какая красивая, глаз не отведешь, загляденье!

Начиналось утро.

Я приподнял с сена голову, открыл глаза и увидел родные деревни. Большое солнце с багрянцем поднялось из-за лесного кряжа по ту сторону Песчаных холмов и куриным шагом, не торопясь, пошло по синим лужицам неба, засматриваясь на деревенские крыши, которые поутру вспыхнули перламутровыми блесками.

Над деревнями плыл серый дымок из труб, вился кольцами и постепенно оседал к земле. Река Вожега спокойно плавила свои воды в большое озеро Воже.

Солнце протянуло косые лучи к земле, стараясь обласкать и обогреть ее.

Деревенские постройки пробудили во мне радость возвращения.

— Григорич! Слезай, приехали! — остановив карюху подле дома, где жил мой племянник, Денис помог мне снять поклажу, а когда я пошел к крылечку, напомнил:

— Сегодня, Григорич, день роздыха, а завтра в Спорный лог на зимовье.

За чаем в жарко натопленной избе хотелось самому говорить и других слушать. Мой племянник Игнат сызмальства был малоразговорчив. Он хорошо владел топором, неплохо водил трактор, вырезал стамеской затейливые узоры на оконных наличниках, мастерили дровни, розвальни, выездные сани да и мыслил человек по-умному, а как дело доходило до разговоров, — молчал. Шум самовара разгонял сон, а молчание Игната тяготило.

— Как живет Денис? — спросил я у Игната, стараясь убить молчанку.

Игнат поднял левое плечо, опустил его, ответил:

— Дениска-то? А что? Дениска-то живет добро. Добро старик с должностью обряжается.

— А какая у старика должность, если он на пенсии?

— Так, пустяшная, — ответил Игнат. — Он охотничает. В магазин пушнину сдает, много сдает. Сам об этом никому не рассказывает. Мы узнаем только по заметкам в газете.

— А Матрена, его жена?

— Матрена-то? Она-то сдала. Кой-как с курами обряжается. Она выбор яиц делает для инкубатора. Стара Матрена-то, ведь ей за семьдесят перевалило.

— Знаю, — перебил я Игната. — Нам с Денисом тоже за семьдесят, мы ведь одного поля ягода.

— А вот Дениска-то еще крепок, его, брат, мороз не тронет и буран с ног не свалит. Не может старик без работы. Сам сознается, что грех на печи тлеть, надо с огоньком поворачиваться. И право, Дениска-то бойко колхозу помогает.

Разговор был коротким. Напившись чаю, Игнат оделся, ушел на колхозную работу. Его жена Вера еще не вернулась со скотного двора, а сыновья были в школе. Помаевшись в одиночестве, я не выдержал и, на-

рушив «роздых», взял свое новое ружье, пошел бродить по лесам.

Хорошо, что нет снегопада, и разорванные в пушинки белые облака плывут по синим бочагам неба не спеша, вперевалочку, и ветер не бьет в лицо, не шевелит волосы. Ольшаник у дороги стоит по-осеннему скучный, не машет ветками, и лишь одна рябина рисуется с косогора спелыми гроздьями ягод.

Я иду полями и полянками ближнего Сиенца и дальнего Бревенника, перешагиваю Черный ручей, поднимаюсь в крутую горушку и с нее вижу, как по лесным дорогам бегут тракторы, автомашины, мотоциклы, и не видно в пути скрипучих телег с запасными осями и мастеровыми деревянными колесами. Спускаюсь к реке Пербово, она гонит свои воды в большую Вожегу, в заливные луга, на которых когда-то я косил сено и ставил зароды.

Речка Пербово — в зарослях кустарника, а по-прежнему бойко шумит и звенит, будто радуется, что вырвалась из болотины и летит вдаль, даже остановиться не может. Когда-то в омутах с иссиня изумрудной водой из-под камней и коряг подмывного берега я выкидывал руками на луг крупных серебристых хариусов с парусными плавниками и с черной полоской по спине. Есть ли они сейчас? Со мной нет удочек, но есть фоторужье. Снимаю с плеча, подхожу к берегу и начинаю объективом водить по тихому омуту.

Видно все дно вплоть до самого мелкого камешка, а хариусов нет. Значит, покинули исконные места, ушли в большую воду.

Снег на солнышке таял так быстро, что я не успевал за ним гнаться. Иду дальше вдоль берега против течения. Хрустят под ногами волнушки, свалив красную шляпу набок, выглядывает из-под березки боровик, а красный рыжик все еще бодрится, стоит, никому не кланяется.



У пербовских перелазов, в махоньком сосновом бору, на высокой сосенке косач-черныш обедает. Рядом к сосне приткнулась корявая береза с обилием почек. С соснового сука черныш достает с березы почки, ест их с азартом, будто и на самом деле он никогда не пробовал такого деликатеса. Пробиваюсь к нему через кустарник. Может, удастся ближе подойти? Стараюсь не шуметь ветвями, и это мне удается. Маленькая сосенка с широкой кроной скрывает меня от черныша. Я его вижу, а он меня нет. Нажимаю спуск. Косач не слышит щелчка, по-прежнему шелушит почки, ничего не знает, да, видимо, и не хочет знать, голод-то тетке не с родни будет.

И только я заснял на пленку косача, он ударил воздух крыльями, слетел с сосны. Может быть, заметил меня? Может, испугался? Нет. Прямо с увала высокой горушки, из мелкого перелеска, будто рыжий челнок, вынырнул лисовин. Он бежал на покосную полянку, вытянув хвост, торопился в еловую поросль, за которой начиналась каменная гряда, плешивые горушки, захламленные овраги. Второпях я вскинул ружье, прицелился, нажал спуск и не увидел лисовина. Он скрылся в чапыге. Успел ли я его заснять?

Все ближе и ближе к земле спускались сумерки, опоясывали маленький лесной мирок сереньким кушаком. Боясь разорвать тот кушак, я вышел на езжую дорогу, пошел к деревне. Под вечер стало теплей, и, может быть, от этого мне было весело и приятно.

Ветер ли забросил, а может быть, кто сказал Денису о том, что я добыл лисовина, он не выдержал и в одних подштанниках глухой ночью прибежал в дом Игната, разбудил всех, а меня спросил:

— Лисовина добыл?

— Да.

— Ошкурал? Поди, на правила шкуру натянул?

— Уже высохла, — ответил я, чтобы успокоить старика.

— Показал бы, Григорич. Может, у них перешерстка прошла, может, пора на охоту?

— Не знаю, — ответил я. — Толком сам еще не рассмотрел.

— А где убил-то его?

— У пербовских перелазов.

— Поди, у березки, где я кажинную осень чучелки ставлю да чернышей хрястаю?

— Нет, не там.

— А где же?

— Чуть правее березки. В том самом месте, где тебя муравей в пущее место укусил, а ты с воем без штанов по всей покосной поляночке бегал. Помнишь?

— Нет, что-то не припомню. Это, кажись, не я бегал, а кто-то другой...

Я принес Денису свой первый трофей, добытый на покосной полянке. Он посмотрел на меня, будто подарил пощечину, загорячился:

— Чего ж ты, Григорич, меня за дурня принимаешь? Язви твою в перепечинку, насмехаешься над стариком! Мне нужна шкурка лисовина, а не твое хвото.

— Так это ж и есть то, что есть, — стараясь успокоить старика, ответил я Денису. — То самое, что тебе и нужно. Ведь на охоту-то я бегал не с безкурковкой, от которой сперва вонь, потом огонь, а уж после гром на весь лесной краж. Этого лисовина я заснял фотуружьем.

Денис с недоверием посмотрел на меня, а снимок все же взял в руки, стал его рассматривать. Смотрел он внимательно, и по его лицу было видно, что тень недоверия у него исчезла. Он искал на фотографии то, что его интересовало, а найдя, заулыбался:

— Вот тут, в этом месте, — он тыкал заскорузылым пальцем в фотографию, моя шалашка стояла, даже колышки и те обозначились, а подле нее, на лужайке, по осеням черныши подстрельши бились. А вот тут была большая лужа.

— А ты ради бахвальства прыгнул через голову своего мерина и в ту самую лужу угодил. Помнишь, как из нее тебя мать вызволяла?

— Что-то не припомню. Давно ведь было-то. — Денис посмотрел на меня лукаво, головой покачал и краешком губ улыбнулся: — Все ты припомнил, а я вот позабыл. — Потом опять стал рассматривать фотографию, заговорил с искренней теплотой: — Ишь, язви его в перепечинку, поймал зайчонка, на загривок к себе кинул и несет его в свой теремок, чтобы задобрить свою подружку, Ужо-тко, красавчик, скоро тебя мой Валдай под ружье подаст!

### 3

На воле гуляли утренние сумерки, а Денис пришел уже за мной, зазвенел на всю избу:

— Пора, Григорич, язви тебя в перепечинку, пора! День на пятки наступает. Хватит нежиться.

В утренний ранний час мы оставили деревню, вышли в заполье, а там, за горбушинскими полянками, начинались Черные перелески. Они опоясывали высокую Подпредеинскую горушку, с которой я когда-то свалился и ногу вывихнул. Вместе с нами бежал Валдай, белый, с черными, будто точеными ушками и с каштановым ошейником.

Валдай не забегал вперед, но и позади не оставался. Бежал он все время в ногу с хозяином. Команды «на поиск» он еще не получал и с нетерпением ее ожидал.

За черными ручьями кончилось мелколесье, начался густой смешанный лес. Не доходя до пербовских перелазов, Денис подал команду Валдаю, послал его в поиск, и он, загнув хвост в три калачика, кинулся в чапыгу.

Около часа мы шли по узкой лесной тропинке, обогнули Богатую сопку, вышли к переходу через речку

Пербово. Все это время Валдай на глаза нам не показывался, но и голоса не подавал, а мы ждали. Ведь в этом самом месте, вон у той ляговины, фоторужьем я заснял лисовина. Не мог же он сквозь землю провалиться иль убежать в тридевятое царство.

— Может быть, ты, Григорич, не на этой полянке лисовина-то на карточку сфотографировал, — снимая с плеч берестяной пестеря, спросил меня Денис.

— Именно тут, вон у той ляговины, а стоял я вон у тех березок, где ты штаны сушил, когда в лужу с мерина шлепнулся.

— Ну что ж, — вздохнул Денис, освободившись от тяжести пестеря, — посидим, покурим. А не махнуть ли нам по подгорью прямо в Спорный лог?

— Почему он назван Спорным? — спросил я Дениса.

Он улыбнулся:

— А черт про то знает. Я только то знаю, что и ты знаешь. Как-то мне говаривала бабка, будто бы в давние времена мужики за ту землю спорили и брат родного брата так топором тюкнул, что тот на всю жизнь без правой руки остался, отсек подлец, а за что? За землю? Может, то и правда, а может, и нет.

Может быть, еще кое-что припомнил бы Денис о Спорном логе, но тут подал голос Валдай. Он был еще далеко от нас, но Денис бойко вскочил с места, взял ружье и побежал в угол полянки, а на бегу мне кричал:

— Григорич! Валяй под березку! Лисовин через пожню побежит, как есть, на тебя побежит, стреляй, только не мажь!

Голос Валдая повернул на Шиловские пожни к Соломенному перекату, а потом совсем затих. Денис закашлял, простонал:

— Из-эх, чертушко. — Он оказался возле меня.

— Почему ты в угол не побежал? — Спросил я его,

— Лис туда не побежит. Гляди на речной пережат, тут, по камням, он пойдет, будет скрадку следов делать, хитер, язвы его в перепечинку.

Валдай вновь подал голос у речного пережата. Я оглянулся и увидел только рыжий хвост лисовина, а потом и тот исчез в приречном чапыжнике.

— Ишь, дьявол, путаник, — вздохнул Денис и перешел через перелесок, встал под густую ель. Его позиция теперь была лучше моей. Денис смог рассматривать всю пожню и даже то, что делалось за пережатом на другом берегу реки.

Лисовин теперь бежал по лесной чаще в полукилометре от речного пережата и был, очевидно, горд и доволен тем, что смог обмануть и охотников, и собаку. Выскочив на взгорье, он остановился у лесной избушки, прислушался, принюхался. Сбежал к речке, отыскал каменный брод, перешел через реку и залег на высоком берегу в густом черемушнике. Лисовин был уверен, что его белый враг Валдай сюда не сунется, а он дождетса вечера и спокойно уйдет в Сенино урочище на охоту, а уж потом с добычей вернетса в свою нору.

Обманутый Валдай кружилса на пережате, обнюхивая каждый камень, выскакивал на берег и снова возвращалса на пережат. Наконец, поняв свою беспомощность, вымахнул на высокий берег, кинулса в черемушник и взвыл так громко, что я, уже задремавший, чуть было не уронил из рук ружье. Вскочив с пенька, на котором сидел, я направил свой взгляд на полянку, думая, что Валдай нашел следы и теперь лисовина подаст под мое или под Денисово ружье. Только успел я об этом подумать, как на пожню на полном бегу из мелкого перелеска выскочил лисовин. Он бежал, пересекая пожню прямо к месту, где я стоял. Денис опередил меня, выстрелил. Бедный зверь, которого мне было жаль, растянулса по земле, уткнув мордочку в густую отаву.

Подошел Денис, опустилса на колени перед лисови-

ном, погладил рукой его пышный мех, не без радости проговорил:

— Я еще не видывал такого меха.

Денис взял лисовина за задние ноги, осторожно положил его на плечо, пошел к месту, где нами была оставлена поклажа. Боясь помять мех лисовина, Денис так же бережно положил его подле своего пестеря, открыл его, вынул и подал Валдаю ломоть ржаного хлеба, сказав, что он это заработал, а сам взял алюминиевую кружку и спустился к реке. Видно, старик захотел проточной воды. Валдай пошел следом за хозяином и, перейдя реку по каменному перебору, вытянулся на другом берегу, стал есть хлеб. Я посчитал, что тоже имею право на некий отдых, отошел от лисовина метров на сотню, стал фотографировать лесной пейзаж. Не прошло и пяти минут, как я услышал взволнованный голос Дениса:

— Язви его в перепечинку! Трех обманул! Вот дьявол-то! Уложив в футляр фоторужье, я подбежал к Денису и спросил:

— Кто кого обманул?

— Да нас с тобой и Валдая, — с обидной ноткой ответил Денис. — Лисовин-то от нас сбежал! Хитер дьявол. Обдурил по всем правилам.

— Что будем делать? — еле сдерживая улыбку, спросил я.

— Пойдем ближе к ночевке. — Поднимая пестерь, ответил Денис. — Он от меня все равно не уйдет. Сейчас на нем еще есть летние заплатины, а уж-тко их снимет, уж тогда-то я его первым сортом в заготконтору сдам.

Через час мы вошли в Спорный лог. Бывал я на нем полстолетия тому назад, в детстве, а сейчас осмотрелся и ахнул, сердце захватило. Лог стал еще красивее, чем был раньше. Подле шустрой речонки стоял огромный, разлапистый дуб, а вокруг него — вытоптанная сухая дорожка. Рядом с дубом стояла избушка, маленькая,

приземистая, с тремя окошками. Рядом с избой пробегал ручеек, а вода в нем светлая-светлая, и живет в ручейке благородный хариус. За избушкой начинался большой бор.

Сложив свою поклажу в избушку, Денис велел мне подмести в избе пол, истопить печурку, наладить про запас сухих дров, а сам с Валдаем ушел в бор, чтобы добыть на ужин свежего мяса.

Увлечшись работой, я не слышал ни собачьего лая, ни выстрелов. В сумерках явился Денис. За его спиной вниз головой висел глухарь-мошник, рыцарь в темносизых доспехах.

— Вот-таки ухрыстал, — прошептал Денис, — мог бы снять еще не одного, — посмотрел на меня, — а зачем? Ведь удовольствие чувствуешь тогда, когда стреляешь, поднимаешь да супец свежий ешь, а потом? Потом никакого удовольствия, одна жалость к глупой лесной птице.

4

Денис проснулся рано. Он сварил из глухаря похлебку, вскипятил чайник, разбудил меня. После завтрака, который оказался очень вкусным и сытным, Денис подал мне урезок ржаного хлеба, большой кусок вареного глухаря, сказал:

— Ты, Григорич, сегодня прогуляйся вниз по матушке-реке до хутора Цибириха. Только не ищи там построек, хутора нет, он стал ненужной вещью в нашем большом хозяйстве, ушел с места. Что добудешь — ладно, не добудешь — тоже добро, больно-то не расстраивайся. На охоте всякое бывает, сто раз пусто, а в сто первый густо.

В сумерках мы разминулись под дубом. Денис с Валдаем ушли в глухомань лесную, а я по тропинке направился в шиловские глади.

Утренник был довольно свежий, с морозцем, от ко-

торого уже попахивало зимой. Под ногами хрустела осенняя отава, трескались волнушки, которых в этот год была прорва.

Упрятав под себя багряный обод, солнце встало в зенит, согревая землю. С березовых веток капали слезинки, распускалось, таяло изумрудное ожерелье ночи. Отава на пожнях высохла, а на пашнях желтые тычинки жатвы смотрели на мир с восторгом, радуясь, что их еще не тронул снег.

В том же месте я снова увидел лисовина. Он без всякой опаски мышковал на сугорьи и, завидя меня, молниеносно скрылся в чапыге. У Цибиревских полей, в маленьком болотце, я вспугнул стаю куропаток. Они поднялись, а я второпях выстрелил в них дуплетом. Упало три. Я сразу поднял двух, а третью искал полчаса и нашел ее в вересовом кусточке. Она была еще жива. Хотя и жалко было добивать ее, но если бы я этого не сделал, то ворон бы за милую душу утолил свой голод. Он уже кружился над кустом, заметив куропатку.

Сложив трофеи в рюкзак, я подле изгороди поднялся на взгорье и остановился на пустыре хутора. Построек не было. Дорога заросла мелкими кустами ивняка да березняка и только рослые березки рассказали мне о том, что подле них были постройки, сады и усадьбы хуторян.

В избушку я вернулся раньше Дениса. Тоже по своему умению сварил суп из куропаток, вскипятил чайник. Подступили потемки, а за ними пришла звездная ночь. На землю опускался заморозок. На деревьях опять, как утром, появилась нежная изумрудная паутина, и казалось мне, что она летит прямо с неба, легкая и неведомая.

Я разжег костерок под старым дубом и при свете огня да полной луны стал записывать в дневник, что видел, что слышал, что вынес в своем сердце из этого уголка. Зашуршала изморозь, и из темноты выбежал Валдай. Он свалился у огонька и стал зализывать лапы, а глаза его, светлые и умные, смотрели на меня, проси-



ли корочку хлеба. Я сходил в избушку и принес для собаки глухариную голову и немного хлеба.

Вскоре явился Денис. По его лицу трудно было понять, с чем его поздравлять. Я еще не знал, что у него скрыто в пестерике, а видел только белильи шкурки, понатыканные под домотканым кушаком. Их было порядочно. Считать я не стал. Из пестеря Денис выложил несколько белок, двух куночек, трех белых, что первая пороша, горностаев.

— С удачным полем! — громко сказал я, радуясь за Дениса.

Денис нахмурился, исподлобья, но тепло посмотрел на меня:

— Не особо удачно. Левую обувку суком пропорол, да и заноза порядочная в ногу заладилась. Там, в лесу, не стал ее вынимать, ночь в избу заторопила. В потемках-то занозу не скоро ущупаешь.

Однако Денис сразу не стал вынимать занозу, а приступил к ужину. Ел он бойко, с аппетитом.

— Добро сварил, добро, — хвалил он меня за хлебку, — вкусно и воложно.

Опорожнив кружек пять горячего чая, Денис, не торопясь, выкурил сигарку, думая о том, куда ему завтра сунуться, побольше добыть зверька. Потом освежевал куниц и горностаев, надел их на правила-самоделки и, развесив их на жердочки, укрепленные под потолком избы, стал раздевать сапоги. С правой ноги Денис снял сапог сам, а с левой мешала боль. Я помог ему раздеть сапог. Денис поднял штанину до колена, и я увидел узкую ранку, которая мне сначала показалась пустяшной.

Занозу он удалял с помощью охотничьего ножа. Это, видимо, стоило ему немалых усилий.

— Хирургия окончена, — сказал он, обтер с лица крапинки пота, прицелкнул языком: — Ведь никогда наперед не узнаешь, откуда свалишься, на что наткнешься? Белку убил, а она не захотела на землю

падать, на еловых лапках задержалась. Я так и этак, а она не валится. Елка толстая, в мой обхват, рубить ее из-за мелочишки жалко, а сшибить белку невозможно, оставлять на лапках тоже жалковато, ведь заряд пороха да дрови истрачен, да и Валдай из-за нее охрип, ну, стало быть, я и полез за белкой-то. Снял ее, стал сам слезать, да тут сук обломился, а я на другой, крупный сук и напоролся. Давай-ка, милоч, спать да утро подтягивать.

5

Пробудившись поутру, я увидел Дениса в полной охотничьей готовности. Он заметил, что я пробудился, сказал:

— Можешь понежиться, это твое дело, а у меня, брат, забота: с планом надо справиться и совесть свою не подвести.

Ушел Денис, растворился в сумерках утра.

Я выпил чаю, поел оставшегося супу и тоже отправился в Дальние Ломы раскрывать лесные тайны.

Морозец землю загвоздил, бочаги и лужицы замостил, и только проворная река Пербово все еще по-осеннему играла в белых берегах. Ночью на застывшую землю выпал снег, прикрыл собою всю неуютность и шероховатость лесных перелесков, пожен и полянок, раскрыл передо мною страницы снежной книги, которую я стал читать, как только отошел от зимовья Спорного лога.

Стадо лосей утром приходило к реке на водопой и той же тропой ушло в густой ельник. Пошел по их следу. Далеко они увели меня за шиловские глади, а там большой густой кряж и, по всей вероятности, их дом. Следы мне рассказали, сколько лосей проходило, где останавливались и что в пути делали. Я подошел к ним от болотной опушки на малый перешеек, стрелять с которого была бы полная удача. Пять матерых

лосей спали, а один, наострив уши, прислушивался, сторожил покой остальных. Раздвинув ветки ели, я прицелился и стал стрелять кадрами фоторужья, они слышали мои шорохи, бойко снялись с лежки и кинулись в густой ельник.

В полдень погода изменилась, стало теплее, мягче. Небо отпускаяло на землю, словно по норме, легкие пушинки снега, подаст порцию, чуть-чуть облагородит тайгу и снова остановится. Ветра не было, и лесные перелески, одетые в новые зимы, выглядели торжественно нарядными и волнующе живыми. Черныши стаями мостились на березках, шелушили почки. Кем-то напуганные куропатки с криком перелетали от перелеска к перелеску.

Я шел к реке Пербово густой еловой порослью и думал: «Кто же нарушил покой куропаток?» С большой осторожностью стал пробиваться между елок к опушке полянки, которая одним концом упиралась в пербовские перелазы. Не доходя до опушки на метр, я раздвинул кусты еловых лапок и сразу увидел нарушителей тихой благодати этого мирка. Метрах в двухстах от меня мышковали лисовин и его подруга. Чудная пара. Вот бы нарисовать такую картину! Я взялся за фоторужье.

Насытившись полевками, пушистая пара разминувшись. Лиса побежала в овраги, а лисовин проводил свою подругу взглядом, перекатился по снегу два раза, очистил шубейку, побежал к перелеску, где я притаился. Мне не хотелось стрелять в лисовина, думал: пусть его добудет сам Денис, но не утерпел, прицелился, выстрелил. Удар был точен. Дробь перебила у лисовина передние ноги, а на задних он не ходок, сдался.

Возвратился с охоты в потемках. Денис был уже в избе. Он лежал на нарах, упершись пятками в каменку. Вся его добыча — несколько белок — покоилась на столе, а ружье лежало под самодельной скамьей, в неположенном месте, и только бородатый глухарь отта-

ивал на перекладине, где сушилась растопка. Валдай легонько взлаивал под моим топчаном: и во сне гонялся за белкой.

Я снял с плеча лисовина, положил на стол перед Денисом, в шутку сказал:

— Обманщика добыл у пербовских перелазов, теперь-то он без притворства мертв.

Денис осторожно снял с каменки правую ногу, потом, поддерживая руками, опустил левую, сел к столу. Я посмотрел на него и, правду сказать, испугался. Денис весь горел, широкий лоб был покрыт крапинками пота.

— Заболел? — осторожно спросил я его.

— Ничего, паря, с другими бывает хуже, — он поморщился, добавил: — До обеда добро бродил, боли в ноге не чуял, кой-что добыл, а вот после обеда хоть караул кричи. Сперва залихорадило, а потом звездочки перед глазами, знаешь, махонькие, махонькие... Ну, думаю, значит, простуда проступила. Повернул до избы и насилу дошел. Левая-то нога будто не моя стала. С батогом пришел-то. Этого еще со мной не бывало. Помню, под Яссами у меня осколок по ягодице проехался и чуть не половину ее оторвал. Ничего. Товарищи перевязали, и я сразу в атаку пошел. Ну, после той заметины я еще две заметины получил, и все сносно обошлось. Но ведь то была война, без заметин на ней нельзя. У кажинного солдата должна быть заметина. У одного она на груди блестит, а у другого каждую погоду чувствует. А сейчас? Вроде бы охота — отдых для человека, а тут нате-ко, нога разболелась. Может, это к ненастью, аль как? — Спросил он меня.

— Может, и к ненастью, к нему кости здорово ломает. — Стараясь приободрить старика, мягко ответил я и сразу добавил: — А лисовина-то я все ж перехитрил.

Денис осмотрел лисовина, потрогал его шубку, сквозь свою боль улыбнулся, заговорил:

— Умный всегда становится дураком, хлебнув радости через край. Без этого тебе, Григорич, его не ухрястать бы. Наверное, с подружкой был?

— С ней, — ответил я Денису. — Только она в обратном направлении побежала, а лисовиц на меня...

— А зачем ему за ней бежать, коль они уже досыта намиловались. Подружка его в овраги убежала, а его послала за добычей.

Я освежевал лисовина, на правила натянул шубку, а в хвост заладил гладкую и тонкую спицу из березовой ветки.

С вечера Денис не спал, все ворочался с боку на бок, но ни разу не простонал, не охнул, хотя ему было очень тяжело. В полночь он разбудил меня:

— Дружок мой, Григорич. Проснись, батенька. Что-то мне малость дурновато. Налей-ка, Григорич, немного спирта. может, дурность-то уляжется.

Я налил Денису спирту, разбавил его водой и, подавая ему, посмотрел на рану в ногу. «Не от простуды у тебя, старик, такой жар в теле, а от проклятой занозы». Подумал, а Денису об этом не сказал. Нога у него распухла, рана загноилась. Надо было действовать, удалять из раны гнойник. Я посоветовал Денису сейчас же разрезать нарыв, основательно промыть рану и посыпать ее стрептоцидом, который был у меня в аптечке.

## 6

Две недели я ходил с Валдаем вдвоем на охоту. Денис залечивал рану и оставался в избе. Валдай скоро ко мне привык. Очевидно, и он понимал, что в эти дни мы должны работать за троих. Но, несмотря на наше упрямство и охотничью сноровку, добывали мы все же мало, никак не могли угнаться за Денисом. Возвращаясь усталыми в избушку, выкладывали на стол беличьи шкурки и оба с Валдаем волновались,

ожида<sup>я</sup> от Дениса упреков, но он, как всегда, молчал, улыба<sup>лся</sup> и только один раз заметил:

— Не туда, паренек, метил, шкурку изрешетил, ее надо выкинуть, брак.

К концу второй недели мне удалось убить черную выдру. Нашел ее Валдай с утра. В береговой вымоине пряталась, а когда собака выгнала ее из укрытия, перебежала в старую мельницу, затаилась под полом. Ни собачий лай, ни моя изобретательность выгнать ее оттуда не могли. Пришлось пойти на хитрость. Спрятавшись за мукомольными жерновами, мы просидели более двух часов, но выдра не показывалась: «Да тут ли она? — подумал я. — Может, потайными путями оставила мельницу, а нас в дураках?» Такое бывает. Умный зверек. Бывало, Дениса больше месяца за нос водила, а убить ее он так и не мог. Об этом Денис рассказывал. Только я припомнил это, как увидел, что на хребте у Валдая вздыбилась шерстка, он явно подготовился к прыжку. Я ружье в руки взял, курки взвел, прицелился туда, откуда, по моим предположениям, должна вылезать выдра. Но Валдай прыгнул не к норе, куда я целился, а в водосливный лоток, настиг выдру, когда она пробивалась к пусковому окошку, и вцепился в ее мягкое тело. Выдра ударила Валдая хвостом, вырвалась от него и побежала в открытые настежь двери. Я нажал спусковой крючок, но выстрела не было, осечка.

Заливаясь лаем, Валдай шел по свежим следам, загнал выдру в реку, под лед. Я понимал, что Валдай кинется в конец каменистого перебора, откуда должна выйти выдра. Долго под водой она находиться не могла. Но частенько на охоте случается так, что ожидаешь там, где не надо. Выдра вынырнула из воды на метр позади меня, снова ушла под воду и там, у береговой ледяной отдушины, затаилась. Пришлось топором рубить лед. Долго мучился я, да и Валдай слышал запах зверя, выл, метался с льдины на берег, совал

морду в воду и, наконец, с разбегу прыгнул в середину омута, настиг выдру, за хвост вытащил ее на каменный перебор. Там, на песчанике у береговой отмели, началась настоящая драка. Выдра вырвалась из зубов Валдая, ударила его по морде плавником хвоста так, что Валдай взвыл, отскочил от выдры, а я, уловив минуту, выстрелил и уложил зверька между протокой и береговой отмелью.

Этой удачей Денис был очень доволен, хотя в тот день мы не положили на стол ни одной беличьей шкурки, не принесли ни ласки, ни горносталя.

— Добро, ребята, добро, — говорил Денис. — Это то, что мне надо. Шкурка-то — первый сорт, пожалуй, не хуже лисовина. Лучше. А как ты ее, Григорич? Ведь в Пербове-то я видывал только рыжих, а эта вся черненькая, ишь, как серебром-то наигрывает.

Пришлось рассказать Денису и не один раз, а три, словно на экзамене. Он слушал, языком прицелкивал, часто улыбался.

Очевидно, по этому случаю Денис угощал меня свежей ухой из хариуса. Мне налил полную деревянную миску. Валдая тоже не забыл. Мы проголодались и ели с аппетитом. Денис наблюдал за нами, часто прищуривал глаза и, не скрывая улыбки, говорил тепло и мягко:

— Не торопитесь, бежать некуда, а в избе тепло, на дворе ночь. Хариусов мне попало, дай бог, много попало. Свои ходули (так он называл ноги) примерял, могут ли они снег-то месить? Ничего, идут. Я из ивовых прутков связал морду, у переката на выходе в омут яз забил, ну и труд, конечно, оправдался, наверное, штук полста попало, не считал. Да ты ешь, Григорич! Еще не все. Целую сковороду нажарил, а главное, ногу проверил. Подходяче. Бегать можно, боли не означается. Все хорошо, Григорич, что добром кончается. — Сверкнул Денис глазами, бородку пригладил. — Может, Григорич, по махонькой для ласковости? А?

Мы выпили по чарке спирта, очистили котелок и сковороду от хариусов, оба легли на топчаны. Спирт разогрел сердце, пошевелил мозги. Денис бойко заговорил:

— Лежу я, Григорич, а сам думаю. О чем думаю? О лесе думаю. Матушка-то моя меня в жнивье в запербовской полянке под березкой родила, потом в деревянной зыбке качала, а как на ноги встал, сам сердцем к лесу прикипел, не оторвешь, столь он мне люб стал. А представь себе, Григорич, что было бы, если б в наших краях лесу-то не росло? Не было б рек и ручейков, не было б и хариусов, которых мы сейчас ели, не было бы дичи и зверьков, за которыми мы охотимся, а нам без охоты жилось бы постыло и нудно. Говорят, что когда лес рубят, то щепки летят. Нет, не то, не по-моему. Не щепки то летят, а кровь, от кажинного удара топора лесина стонет и плачет, ей ведь жить-то тоже хочется. — Денис приподнялся, на меня посмотрел, спросил: — Ты, паря, давно в Задовжье не бывал?

— Лет пятнадцать, а что?

— Да то, что ты их теперя не узнаешь. Все подчистую погублено и захламлено. Зеленую подошву земли тракторы в клочья порвали, там ныне трава и та не растет. А ведь, Григорич, можно было бы по-иному сделать. Ну, скажем, так: понадобился лес — руби его с богом, руби по порядочку, добром руби, а потом эту вырубку, пожалуйста, засеи семенами ели аль там сосны, глядишь, лес-то снова поднимется и спасибо скажет. Да где там! Нынче о посеве леса мало кто думает, все куда-то торопятяся.

После этих слов Денис вышел из-за стола, пригласил меня на ночную прогулку. Одевшись потеплей, мы вышли из избушки, а Валдай остался под топчаном, он спал.

Большая луна, окольцованная синими брызгами, освещала нашу тропинку, пожни, лес и журчащие речные пороги. В большом лесном дворе было тихо.



Наряженные в изумрудные кружева, березки важничали на косогоре и все время жались к осинам, может быть, в это время они вели веселый разговор? Мы этого не слышали, и только чудилась нам их стройная песня о счастье стоять на земной груди, слышать ее дыхание, принимать от нее живительные соки. Эта тишина таила в себе много странных, неулавливаемых звуков, которые остаются неразгаданными и тогда, когда, прижавшись ухом к холодной земле, с замиранием сердца слушаешь. Ветра нет, а лес поет, жужжат ветки берез, легко позванивают лапчатые сосенки, пошумливают, а тайна их разговоров остается для меня тайной. Денис эту тайну знал. Он больше меня по лесу хаживал.

— Григорич! Может, песню споем? — заговорил он протяжно и тихо, боясь испугнуть тишину. — Гляди-кось, друг, даже луна и та наладилась нас слушать, ишь, как ушки-то наострила и нос плоской сделала. Она-то, Григорич, все видит, а вот не чувствует, о чем сейчас земля поет, а земля о своем поет, о том, чтобы люди берегли земную красоту, она сгодится. — Денис свернул с тропинки, посмотрел на меня: — Постоим тут, паря?

— Давай постоим.

Мы остановились под разлапистой и довольно уродливой в комле березкой. Денис посмотрел на ее комель, улыбнулся:

— Хорошая б из нее росоха вышла, погляди, паря, какой у нее изгиб славный, чудно, — улыбаясь в усы, продолжал: — Раньше бы ее за милую душу срубили, соха в хозяйстве была первая подруга. А теперь вот ее никто не тронет, она никому не нужна. В отставку подала росоха, в музее отдыхает. На нее молодежь глядит и не знает, для чего она. А она хмурится, думает: «Раньше без меня со двора дороги по веснам не было, я кормила мужиков, а теперь на заслуженном отдыхе».

Неподалеку от нас, в ложке у шиловских гладей, завыли волки.

— Не один воет, — прошептал Денис, — жрать, видно, хотят, а в деревню бояться сунуться, в лесу падаль ищут.

С другой стороны реки раздался ответный вой. Тишины не стало. Она ушла с волчьей песней. На пожню выкочила рысь, остановилась, принюхалась и сразу стеганула в березовую райку, а вскоре оттуда раздался предсмертный крик зайца.

— Вот, гадюка, зайца все ж убила.

Из березовой райки до нашего слуха долетели хлопки и крики куропаток.

— Это куропеть ночь славит, луне благодарение шлет за то, что осветила потемки, дала позавтракать. — Прошептал Денис и улыбнулся: — Чудно в лесу, как у Лукоморья.

— А ты не пробовал охотиться ночью? — спросил я Дениса.

В ответ прогремел выстрел, сразу второй. Мимо нас галопом пробежало стадо лосей, с пушистым хвостом в райку юркнула лисица, и опять все стихло, ни шороха, ни звука.

— Это Тигарев стреляет. Тот мастак на волков. Бьет. Ничего не скажу, здорово бьет, и все по ночам. А я, Григорич, денный, денный охотник. Ночью-то белку аль куницу в елке не увидишь. Будет холера рядом с тобой сидеть, на тебя смотреть и над тобой же насмеяться. Нет, увольте! Смеху я не переносу.

У реки кто-то засмеялся, да так задорно и громко, что заставил меня остановиться, прислушаться. Денис посмотрел на меня, прищурив глаза, передернул плечами, проговорил:

— Пойдем в избу, а то филин мертвого на ноги поставит.

Я шел за Денисом, а в моих глазах кадр за кадром проплывали перелески березняка, огненные борки и

боры, мелкие и крупные ельники, осинники, неширокие покосные поляночки, запорошенные снегом. Денис шел неторопливой походкой, мягко ступая сапогами, боясь повредить мелкую поросль. Он часто наклонялся, поднимал упавший с ели или сосны сучок, клал его на корневище, и мне стало ясно: Денис шел большим полем. Это было его любимое, исконное поле.

## НЕЗАБЫТАЯ ВСТРЕЧА

**А**ПРЕЛЬСКОЕ солнце растопило лед на лесных речках. В спадах бойко зашумела вода. Высоко в голубом небе запел жаворонок. Его звенящий, дробный напев, слившись с шумом водопадов, заполнил собою молодые ельники, сосновые борки, березовые рощи. Весна звала в пойменные места на вальдшнепиную тягу, манила на рябчиков, косачей, куропаток. В крутых речках начался жор лосося и форели. Разве в такое время усидишь дома?

День был теплый. Из лесного кряжа струилось тепло, густое и ароматное. С крутояров стремительными потоками бежала вода и, кидаясь в речные омуты, бойко шумела. По всему лесу была слышна многоголосая, широкая, сильная песня разбежавшейся весны.

С удочкой в руках я прошел по берегу реки Ноздрега, что змеится в лесах Заонежья, но поклева нигде не встретил. В быстринках неудержно ворочалась вода, а в больших омутах стояла кофейная гуща. В порогах вода сносила лесу к берегам, а в омутах рыба худо видела наживку. С такой неудачей я подошел к Гремячему омуту, и на берегу, под елью, сел, закурил. В это время услышал довольно четкий говорок:

— Эй ты, прорва! Наживку не порти, хватай вежливей, и не за пятки, а в лоб...

Раздвинув кусты черемушника, я увидел рыболова. Он сидел на крутом берегу, свесив ноги. На круглой го-

дове поблескивала довольно опрятная лысина. Подле него лежал черный картуз, а на груди — мешочек с наживкой для форели. Чуть сгорбившись и подавшись вперед, он смотрел, как на воде покачивался поплавок. Улыбка играла на его продолговатом лице, рыжие усы часто вздрагивали, и коковка носа дрожала. У большого серого камня лежал походный рюкзак, около него валялась поношенная фуфайка, и из-под ее полы торчали заячьи ноги. Сперва я принял рыболова за браконьера, который убил зайца и спрятал его от людского глаза.

Оставив на корневищах свой рюкзак и удочки, я подошел к рыболову. Он не повернулся и внимательно следил за клевом форели. Я проворно взял фуфайку и хотел уличить его в браконьерстве, но, как видно, ошибся. Из-под фуфайки выскочил заяц-серяк, прыгнул рыболову под колени и там, в береговой вымоине, затаился.

— Ученый? — спросил я, укладывая на место фуфайку.

— Что? — отозвался он, глядя по-прежнему на поплавок.

— Ученый зайчишка-то?

Рыбак повертел головой, вытащил леску из омутка и только тогда обернулся на мой голос:

— Какое ученый. Лесная неучь, а, паршивец, толковый.

Рыбак рассмотрел меня с ног до головы, в лицо заглянул, наверное, подумал: «Откуда такой явился, что с горы свалился? Зачем его под вечер принесло в такую таежную даль?» Потом, погладив рукой усы, пояснил:

— Третий раз от своего врага под мое крылышко прячется. Не боится, что я из него жаркое сготовлю и за милую душу съем.

Он показал рукой на другой берег реки, добавил:

— А враг-то в дупле прячется. Несколько раз за

добычей подлетал, а удачи у него не было. Зайчонок-то хитрее, даром что косоглазый.

Я посмотрел за реку на старый пень и ничего в нем примечательного не увидел. Пень как пень, осиновый, ослизлый, облупленный клювом дятла.

Рыболов посоветовал:

— Не поленись, соловушка. Перейди речонку по плотине, к пню-то заходи справа, с подветренной стороны, а коль близко подойдешь, тут, брат, не зевай, мою фуфайку поверх тня накинй, душло-то закрой, поймаешь.

Что он советовал мне поймать, я так и не понял, а все-таки пошел туда. Не успел я подойти к старому пню на бросок, как из его душла вылетел огромный ястреб-тетеревятник и, медленно перевалив над рекой, скрылся в густой березовой райке. Я после этого повернул обратно и на плотине встретил рыбака. Он все так же был весел.

— Отнесу косога вон до тех кустов, — он указал на приречную чапыгу, — и тогда, соловушка, будем знакомиться.

Сказав это, он скрылся в мелкой поросли за вересовыми кустами. Вскоре вернулся, но уже один, без зайца. Улыбаясь, он протянул мне руку:

— Заядлый рыбак Максим Чеботарев. Это, соловушка, моя родовая фамилия, а в деревне-то все меня кличут: Чебе, Чеботарь, потому как я, окромя рыбалки да охоты, еще занимаюсь починкой сапог да и валенки по зимам добро кропаю.

Вернувшись под еловый шатер, я стал разводить огонек, чтобы вскипятить чайку, так как уху варить было не из чего, рыбы не наловил. Чеботарев тоже пришел, принес с собою протяжный и довольно вместительный заонежский говорок.

— Я, соловушка, прожил долгую жизнь, а к врачам не бывал, не хворывал. Мой лекарь — наш лес, а лекарство мое — заонежские сопки и голубые озера,

краше которых нет ничего на всем белом свете. — Максим повернулся к реке, удаю головой трякнул, засмеялся и снова посмотрел мне в глаза, давая этим понять: мол, «посмотри, каюа красивая река! Видишь, ворочается, будто выбралась из пеленок зимы и на радостях дает разлет, что вороной конь дыбится». И правда, добро хозяйствует матушка природа, всех манит посетить ее просторную дубравушку, ласкает, веселит, аж душа играет.

Узнав, что за день я не выловил ни одной форелины, Чеботарев бросил свою поклажу на еловые сучья, расхохотался:

— Выходит, соловушка, рыбу ловим, а мох варим, похлебка ого-го. У меня не так. У меня во как! — с этими словами он высыпал на белую скатерку содержимое рюкзака, прошумел: — У нас, брат, форель, а не квас. На своем веку в лесной глуши довелось мне много повидать. Видел хорошее, но и худое меня стороной не обходило. Хорошее брал с собою в путь-дорогу, а худое забывал. Коль встретишь в глухомани человека, сперва загляни ему в глаза, а они-то расскажут, честен он аль прохвост. Ежели честен и прост, то и душа у него нараспашку, вся видна, а ежели хитер и коварен, то и душа у него в потемках, упрятана, чтоб ее не видели добрые люди.

Говорил Чеботарев тихо, без спешки и все время разглядывал меня, «искал» мою душу. Потом перевел взгляд на реку и сразу преобразился, заулыбался, встал на колени, отобрал полдюжины форелей, бойко и умело очистил, нарезал в котелок картошки и все понес к реке для мытья. Когда он вернулся, я навешивал на таган свой чайник. Максим тепло проронил:

— С чаепитием не торопись. Сейчас сварим свежую рыбную похлебку. Ты, соловушка, такой похлебке в своей жизни еще не едал.

Я стал присматриваться, как Максим варит похлебку.

Вода в котелке вскипела, и рыба чешуя стала вяло-багровой. Чеботарев нарезал чесноку, смешал его с тертой ячневой крупой и все сложил в котелок. Минут через пять он кинул туда же два лавровых листа, положил с десяток горошин черного перца, а потом высыпал в котелок столовую ложку толченых ржаных сухарей.

За обедом Максим был малоразговорчив и только после еды рассказал о себе самую малость. Вот уже пять лет как он ушел на пенсию по старости. Первые дни кое-как коротал время, а потом затосковал по работе, пришел в правление колхоза и сказал:

— Жизнь приучила меня к труду, и я всегда был при деле. Теперь я пенсионер, но не могу сидеть у окошка и считать воробушков. Без дела устаю, и нет никакого отдыха и веселия. Что касемо чеботарства, то это мое давнишнее ремесло, и оно полностью не дает мне успокоения, мне надо обчество.

Сейчас Максим в колхозе — сторож амбара с посевным зерном. Летом амбар пуст, и сторожить его не надо. Все свободное время Максим ловит рыбу, сдает ее в колхозную кладовую, а за это ему — почет и уважение.

Я в свою очередь поведал Чеботареву о своих путях-дорогах, которыми шел в Заонежье. Максим не перебивал меня. Когда я закончил рассказ, он протянул свою натруженную руку:

— Будем кумами, — сказал и сразу добавил: — Кум, по-нашему, настоящий друг.

После короткого отдыха у костра, я по каменному перебору перешел на другой берег и, выбрав место подле поваленной в зарослях ольшаника да черемушника ели, сел, наживил на крючок красных червяков и закинул лесу ближе к подмывному берегу, где вода была спокойна. Через минуту сильный рывок увел поплавок под воду. Я подсек, и серебристая рыбина со звездочками по бокам забила у моих ног.

Максим сидел на другом берегу, напротив меня, и, заметив мою удачу, сказал:

— С полем, дорогой соловушка!

Нагретая солнцем земля пускала испарину. Она медленно вставала над водой неосязаемой занавесью тумана.

Увлечшись рыбной ловлей, я не заметил, куда ушел Чеботарев со своего старого места. Звать его к себе я не стал, не потому что у меня был хороший клев, а потому, что побоялся нарушить песню соловья. Он сел подле меня на молодую черемушку и залился песней. Соловей пел с закрытыми глазами. Как он пел! Сколько в его голосе было радости и силы! А ведь сам с кулачок!

До поздних сумерек я просидел на одном месте. С наступлением темноты соловей улетел за косогор, ближе к пашням. Поклев форели тоже стал редким. Я посмотрел на другой берег и увидел Максима на старом месте.

— Куда ты уходил? — спросил я его и стал сматывать удочки. — У меня был славный клев форели, а как пел соловей, заслушаешься!

— Вот поэтому я и ушел, — ответил Максим, — если бы я сидел на старом месте, тебе бы соловьиной песни не слышать. — Максим тоже смотал удочки, перебрался ко мне, спросил: — Ну как у вас? Может, опять квас?

Я высыпал из рюкзака на клеенку форель. Максим от удовольствия крикнул.

— Хороший улов! Пироги и жарено получится.

С этими словами он высыпал из рюкзака свою добычу.

У него форели было вдвое больше. Он смешал всю рыбу, проговорил:

— У старых рыбаков и охотников так ведется: мое и твое сложим вместе, а потом разделим на равных паях.



Сложив свою долю в рюкзак, Чеботарев снял с фуфайки прилипшие прошлогодние березовые листики и вересковые иголки, провел по голове платочком от лысины до ушей и стал поторапливать меня: путь до стана еще далек, а поспеть к нему надо вовремя. Завязывая рюкзак, я невольно подумал: «Приятно в лесной глухомани встретить такого человека. Есть еще люди, любящие лесную дубраву». Хотелось об этом сказать Максиму, но он опередил меня:

— С этого дня, друг-соловушка, почаще станем с тобой встречаться, вместе будем лесную кладовую открывать да тайники ее выведывать и от недругов оберегать. Обшарим всю заонежскую землю. За свой-то век, за свою-то жизнь я столько пути шагами отмерял, что и не счесть. И хотя и много лесных кражей я облазил, душа-то все еще в лес просится, в лесу-то, паря, она молодеет, да и на одном-то месте стоять я не привык, не могу. Все тянет вперед, дальше, глубже. Если ты любишь даль лесную, пожалуйста, сбереги такую любовь, своим детям и внучатам передай.

Гуляя по лесному раздолью с удочкой или с ружьем, я часто раздумывал: «Ну как не полюбить такую сказочную лесную глухомань с белыми райками кудреватых берез, с мачтовыми соснами в огненных борах, певучий ельник с голубыми папахами, мягкий игольчатый вересняк, серенький рябинник с густыми гроздьями янтарных ягод по осеням! А цветы? В период цветения трав пройдите в лес, присядьте на маленькой проплешинке на пенек или валежину и вы ясно увидите, как расцветает земля. Прислушайтесь, о чем шумит ветер в кронах леса? Березки тонко и нежно позванивают, сосны тихо шумят. Земля гонит от корней к вершинам живительные соки, не переставая ни днем ни ночью, с весны до жарких дней лета. Приложите весной ухом к березовому стволу и услышите еще никем не написанную песню сокотечения.

## НА ОГОНЕК

**В** СЕРЕДИНЕ сентября довелось мне рыбачить на порожистой речке Пажа. До Октябрьской революции ее звали Госпожа, но жители окрестных деревень отбросили три первых буквы, и речка приобрела свое настоящее, независимое имя Пажа — значит, степенная.

И в самом деле, Пажа этого заслуживает. По весеннему разводью шумит, пенится, вздувается, а погуляет малость по заливным лугам, и снова в спокойствие войдет, остепенится. Летом речка тихая, смиренная. Вода в ней струится легко, а в некоторых местах, будто усталая, переваливается, в тростниковых зарослях шепчется с золотыми кувшинками. Пажа течет в Самину-реку, которая впадает в большую Андому под деревней Кюрино.

В Паже много омутов, сплошь усеянных камнями разной величины и расцветки. По берегам растет легкий тростник с травой стригунец да с заячьими ушками. Тростник чуть-чуть выглядывает из богатырь травы — Иван-чая. Вода в речке студеная, родниковая, будто ее никогда не нагревает солнышко. Из-за быстрого течения в верховьях Пажа не замерзает, а только покрывается легкой шугой.

Вода в речке, как летняя заря по утрам, чуть голубая, прозрачная. На большой глубине каждый камешек простым глазом увидеть можно. Бывало, из любопытства бросишь в воду медяшку тонкую, и кажется, что она не на дно улеглась, а покачивается на воде да поблескивает. Идешь по травянистому ковру берега, смотришь на реку, любишься, видишь и слышишь, как вода светлые пузыри пускает, а потом из того места голубой фонтанчик веером забьет, залюбуешься, дочего ж тут добро. Особенно в вечернюю пору, когда перед самым заходом солнышка тот фонтанчик расцветку принимает, шумит, вздыхает легко и протяжно.

В такой-то вот речонке облюбовала себе место для житья красная рыба форель, по-заонежскому, торпа. Не водоросли привлекли ее в эти места, а студеная вода с обилием больших и малых легких водопадов, с красивыми спадами на перекатах, сплошь усеянных маленькими камешками. Нерестится форель в верховьях. Там спады сильные, быстринки крутые и песчаные рыбы тропинки ясные. Весной в водоразлив да в дождепады осени поднимается форель из большого Онего в реку Андома. Дойдет до устья Самино-реки, и часть форели да лосося поднимается по Самино в верховья, а часть под деревней Пустошь сворачивает в протоку и заходит в Пажу. Из устья Пажи поднимается форель по крутой, винтовой каменной лесенке до большого горяч-камня, который возвышается посреди омута подле деревни без названия. Деревня не сохранила до наших дней своего имени, и только каменные плиты, лежащие на земле, напоминают, что тут когда-то стояли постройки. Неподалеку от тех плит, у самого берега, стоит полуразвалившийся домик рыбака и охотника. Водяная лесенка для прохода форели — многоступенчатая, с бойкими спадами, шумит неугомонно и перекидывает свои воды через зубчатые глыбищи камней. Вода в этом месте источила камни, создала между ними узкие проходы, маленькие протоки, рыбы тропинки, песчаные дорожки. По этим тропам торопится форель в свои исконные места. По узким протокам между камней, по лесным перекатам, в извилинах чапыжника плывет она к высоким бурливым спадам в глухомань лесную.

Поздней осенью, в ноябрьскую шугу, оставив в Паже выметанную икру, зарытую в песок, да сторожей каянчиков, форель и лосось скатываются обратно в большое Онего.

На этот раз мне не повезло. С утра была хорошая погода: дул легкий ветерок и шел мелкий накрап дождя. Земля вольно дышала, дымилась испариной. Было

тепло и даже немного парко. Но только успел я наладить лески, как погода резко изменилась, подул сиверок, дождик прекратился, вода в речке заискрилась.

Переходя от омута к омуту, используя все свое уменье, я выловил только с десяток форелин-ложечниц и этим остался доволен — на уху хватит. К полудню серо-пепельные облака рассеялись, выглянуло солнышко, а поклевка все равно не было. Так, наедине с рекой да с золотыми кувшинками я просидел на берегу большого омута до поздних сутемок. Чтобы не застала ночь на распутьи на голом месте, я смотал удочки, надел за плечи рюкзак, перешел небольшой перелесок, спад, еловую грядку, вышел к рыбному долгому плесу. Посередке этого плеса стоит бахвалитса, к себе зазывает красивый островок с точеными соснами. Перейдя речку вброд, я выбрался на мысок и на сухой гряде решил коротать ночь. Высокая и довольно раскидистая сосенка приняла меня под крышу своего теремка.

В лесном кряжу не дома на задворках: дрова искать не надо — срубай любую сухостоину, разводи горячий костер, будет тепло и весело. Но я больше всего люблю огонек, когда в нем горят сухие ольшанины, от такого костра всегда пахнет вяленой говядиной.

Скоро под сосной запылал огонек. Рядом в плесе стало светлей, а метрах в пяти от огня, за лесной стеной, царила пустая темнота, безмолвная и настороженная. Лес притих, задремал — ни шороха, ни звука. Подле моего огонька, в спаде, лениво урчала вода, обижаясь, видно, на то, что небо худо отпускает для речки дождя, а поэтому она мельчает, мало веселится.

Ветра не было. Свет костра падал во все стороны одинаково. Речное плесо теперь уже освещалось метром на восемь. Выпив стакан горячего чаю, я потянулся за чайником, чтобы налить кипятку, и в это время услышал всплеск воды, а потом увидел темно-серебристый круг на воде — тут будто был рассыпан бисер. Это уже

играла форель. Недолго раздумывая, я развернул лески, на крючок наживил червячка, закинул лесу в омут. Но, как видно, напрасно беспокоился. Прошло более десяти минут, а поклевка не было. Да и вряд ли в темноте форель увидит наживку. Только я подумал об этом, у одной удочки мелко задрожал поплавок. Я удивился: форель так не клюет. Она всегда настигает наживку в то время, когда червяк на крючке только что приводнится, а иногда берет со дна, но всегда рывком, яростно, со всплеском воды. А тут? Может быть, это клюет каменуха? Нет. Когда та клюет, то поплавок не дрожит, а покачивается. Но вот поплавок ушел под воду, и я, не тропясь, подсек. Чувствую, что рыбина на крючке, сопротивляется, бежит под подмывной берег, леса натягивается, свистит. «Наверное, большая рыбина», — думаю я, веду ее ближе к берегу на песчаную отмель. Идет податливо, а потом взял да и выудил ее из воды на берег. Снимаю с крючка, люблюсь, недоумеваю. Много лет ловил я форель, и крупную, и мелкую, но только днем, на зорях, или в дождепады, а чтоб выудить ночью, при свете костра — это было в первый раз. Прикидываю рыбину на руках — славный пирог, не меньше килограмма, с удовольствием кладу ее в рюкзак и снова закидываю лесу в омут.

Внезапно клев прекратился. Я сидел у огонька и думал: «Что же могло случиться? Кто помешал клеву? Кто потревожил форель?» Посмотрел прямо перед собою и увидел, как на плоский камень, неподалеку от берега, вылезла выдра. В такую темень, да еще в лесном кряжу, я оказался не единственным рыболовом. Прижавшись к камню, выдра смотрела на мой огонек и, может быть, тоже удивлялась: мол, леший тебя принес сюда, мне мешаешь рыбачить. В зубах она держала форель за хвост. Ее, видимо, донимал голод, и, поджав под себя короткие ножки, нисколько не опасаясь меня, она стала есть рыбину. Потом все это видение исчезло,

так как мой огонек без дров не захотел гореть. Вокруг стало темно. Хочешь не хочешь, а огонек разжиглять надо.

Без всякой сторожки я поднялся, нашел несколько сухостоин, приволок к костру. Огонек снова запылал, заплясал, стало веселей. Сначала он загорелся ярким пламенем, а потом его свет с каждой минутой выравнивался и, наконец, стал освещать полпlesa.

Тишина леса прогнала прочь всякие опасения и сон. Сидя на речном берегу в безмолвии ночи подле огня, я уже не осматривался по сторонам, не видел скрюченных крон хилых елочек, а весело смотрел вперед на волшебный мирок, созданный мною в темени плеса. Замкнутый круг воды был, как мне показалось, без береговых вымоин, без курчавых березок, и не грудились там рябинки, прижимаясь к черемушкам. Круглый черный поднос стоял передо мною, а я в середину его закидывал леску с наживкой.

Вертясь вокруг удочек, я забыл о времени. И ладно. Пусть дольше держится ночь. Клев был отличный. Хотя я и не больно-то задористый рыбак и к большой удаче не тянусь, но эта ночная ловля была для меня неизъяснимо увлекательна. Я не мог оторваться от нее даже и тогда, когда заметил, что подвешенный мною на таганчик к огоньку алюминиевый котелок выкипел и начал плавиться. Я думал: «Почему не днем, а именно ночью форель открыла такой жор? Что ее заставило так близко, без всякой опаски подплывать к берегу и стремительно кидаться за наживкой?» На все эти вопросы мне ответил огонек, что так старательно всю ночь исполнял свои обязанности факельщика.

Но вот на востоке показался первый луч зари. В лесной чащобе заговорили, запорхали, перелетая с места на место в поисках завтрака, малые птички. Клев сразу прекратился. Тут уж ничего не поделаешь. Сматывай удочки, собирай рюкзак и ступай в избуной уют. Но и

тем, что увидел этой ночью, я был удовлетворен вполне. В моем рюкзаке покоилась красная рыбица, по хребту которой идет сплошная черная полоса, а по бокам звездочки, положенные будто правировальщиком на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Однако главная моя удача не в количестве выловленной форели, а в том, что в этих местах я бывал несчетное число раз и всегда находил то, что еще никем не рассказано, нигде не обнаружено.

## ОГНЕННЫЙ ШАРИК

**А**ВГУСТОВСКАЯ ночь застала меня у старой покинутой мельницы на реке Саража, что протекает в пяти километрах от деревни Слобода и змеясь бежит по лесным кряжам до Ильинской низменности на Куржексе. До проезжей дороги, которая вела к Слободе, от места ловли форели было не меньше десяти километров, а до Ильинцей — около пятнадцати с гаком, как сам черт мерял, да мерку потерял. Идти прямо без троп и дорог по азимуту я не решился, мало ли что в пути может случиться. В тех местах водятся рыси, россомахи, медведи на пинусах загуляли. Однако зверье меня не пугало, я боялся окунуться в непроглядную темень ночи, из которой даже опытному охотнику выбраться трудно.

На сугорье, подле берега реки, под широкими кронами елей я развел костер и, пользуясь шатром еловых ветвей, смастерил на случай дождя небольшой шалаш. Огонек освещал пологий берег реки, заглядывал на ровную покосную полянку, а в небе ни луны, ни звездочек. Огромные сосны, что росли по ту сторону реки, громоздясь в беспорядке, стояли в большой задумчивости, как будто чего-то ожидали, к чему-то прислушивались.

Воздух теплый. С земли непомерно бьет испарина, словно парным веником хлещется. Дышать трудно. Хо-

чется убежать в прохладу, под поваленную ель. Немного легче у реки, там над водой встала легкая серая дымка. Тугой, горячий воздух успокоил все живое. Даже мошкара и та улеглась, спряталась в листья берез, в луговую траву. Было даже неприятно от такой тишины. Слышно, как в траве пискнула мышь полевка, как на реке лопнул пузырь, искусно созданный всплеском форели, и опять немая тишина. Скучно одному в таком мертвом царстве.

Привалившись к стволу ели, я заставил себя немного вздремнуть, но чей-то грубый голос со стороны левой протоки реки разбудил меня. Я выбрался из шалаша, взял ружье, пошел на полянку. У опушки ее остановился, прислушался. Тут тоже тихо, никаких шорохов. Все живое молчало, и лишь какие-то неясные тени бесшумно передвигались по полянке.

Я вернулся к огоньку, сел на старый пенек, задумался. В это время ночную темноту раскаленным зигзагом прорезала молния, а вслед за ней раздался гром. Не прошло и минуты после первой вспышки, как небо прорезала вторая прямая линия с красным наконечником и, ударившись в сухостойную ель, исчезла. За этим последовал гулкий, щемящий гром. Сухостойна сначала задымила, потом загорелась точно факел. На покосной полянке стало светлей. Я быстро вскочил на ноги, пробрался в густую, некошеную осоку, как в надежное убежище от напасти молнии. При вспышке молнии, при свете горячей ели мне было видно, как подле реки металась лоси, ища спасения иль от жары, или от молнии. Трепетали осиновые листья. С места на место беспрепятственно перелетали лесные птицы. На полном скаку полянкой пронеслась матерая рысь и, перескочив реку в узком месте, замыкала уже на другом берегу в мелком чапыжнике. Внезапно все затихло, как будто не было ни шума, ни молнии. Небо по-прежнему стало черным, и молнии больше не тревожили его.



Я хотел встать и покинуть осоку, но вдруг прямо перед собой, над большим плесом реки, увидел свет. Он освещал не только реку, но и прибрежные лужайки, проплешины и заходил в густой лес.

Будто десятки мощных прожекторов перекрестным огнем спускали лучи на землю для того, чтобы и ночью на ней было светлей и веселей.

По правде сказать, мне было не до веселья. От такого света лоси шарахнулись в лесной клин и, поднявшись на взгорье, исчезли. Сова, которую я увидел на стогу сена, тоже слетела и прямо над моей головой снизилась, села в осоку неподалеку от меня.

Яркий свет не стоял на одном месте, а все время двигался вниз по течению реки со скоростью пешехода. В пути он не сворачивал, никого не обгонял, не поднимался вверх, не опускался вниз, а все время шел, словно по канату, на одной высоте и с одинаковой скоростью. Проскочив покосную полянку, огненный шарик подошел к речному изгибу, там раздарил сноп лучей, поравнялся со мною. Он был от меня на расстоянии сотни метров. Я с любопытством рассматривал его. Шарик был невелик, раскален добела, а летящие по сторонам брызги света были пурпурными или ярко-багряными.

Я не знал, что это за штуковина появилась в здешних местах, но не пугался, а все время с интересом наблюдал за его полетом. В том месте, где проходил шарик, вода в реке пузырилась. Но вот на его пути встретилась излучина, крутой поворот. Не желая менять направление, шарик взмыл выше кустов смородинника, прошел над ними, и листья при этом сразу свернулись в трубки. Осинник затрепетал сильнее. Через минуту шарик скрылся из моих глаз, и мне показалось, что он упал в большое плесо, на середине которого возвышался островерхий камень. Еще через минуту раздался сильный сухой треск, и миллиарды светляков брызнули во все стороны, воздух задымил, как будто

загорелся, запахло гарью, и опять скоро все стихло. Я побежал к большому плесу и ничего не увидел.

До самого утра я не спал, а огненного шарика больше не видал. Он исчез, видимо, вместе с сухим треском. Поутру, как только заиграла заря, с земли ушла ночь и стало светло, я пошел к камню. С ним тоже ничего не случилось. Он стоял на круглом подносе плеса, словно гранитная горушка, и только тут я заметил, что острия у него уже не было.

## УМНИЦЫ

**Р**АННЕЙ весной я готовлюсь к рыбной ловле. Из кордовой нитки мастерю садочки, заготавливаю для мереж ивовые прутики, а потом из них плету ловушки. Из конского волоса готовлю продольники и лески. Както в последние апрельские дни мой сосед, колхозный конюх Матвей Прутков, принес мне целый хвост от умершего по старости коня Гвоздика и намекнул:

— Не просто так отдаю, а когда тебе будет удача, накорми меня трехразовой ухой.

— Ладно, кум, согласен, — ответил я Матвею, оборвал с хвоста длинные волосинки, а остальное выбросил. Те волосинки я повесил в сенник на гвоздик, думаю, если понадобятся, то возьму их в июле, пару лесок скручу.

В мае с юга прилетели ласточки, заняли свои родные гнезда. В моем сеннике, под самыми стропилами, гнезд, что мазанок, было полным-полно, наверное, десятка три, а то и больше.

Однажды я ловил рыбу на лудах большого Онего, и там меня застал шторм. Набежала волна, перевернула лодку, а меня, как малое дитя, по милости на берег выплеснула. Оправился от беды, а лодки так найти и не мог, видно, утопла со всеми ловушками, лесками, продольниками. В тот памятный день пришел я домой — и сразу в сенник, ищу глазами конский волос,

а его будто корова языком слизнула, нету. Куда, думаю, делся? Спросил у сына:

— Ты, парень, конского волоса, что в сеннике висел, не брал?

— Нет, — серьезно отвечал сын, — сам не брал и никому его не отдавал.

Погоревал я и решил снова идти в конюшню и просить конюха наладить мне от лошадей длинных волосинок. Конюх сперва отнекивался, а потом, когда я принес ему двух щук, трех крупных судаков и пару язей, с радостью согласился и в тот же день принес большой пучок волос. Я из того волоса изготовил несколько ловушек и по зорям стал на рыбалку ездить, удача большая была.

Через месяц мой сын и говорит:

— Помнишь о пропавших волосинах, что в сеннике на гвоздике висели.

— Ты их нашел?

— Нашел.

— Где?

— В ласточкиных гнездах. Мастерские птицы. Сделано так, как, пожалуй, мало кто может смыслить.

— Поди, все врешь? — строго спросил я.

Володька рассмеялся, рукой махнул:

— Если не веришь, могу показать.

Мы отправились в сенник. Сын взял в руки легкую лесенку, поставил ее к ласточкиным гнездам, проговорил:

— Полезай, тять, только птенцов из гнезда вынимай осторожно.

Достал из гнезда я одного ласточкина птенца. Был он еще мал и хрупок, только что на нем появилось оперение, а уже хорохорился, в руки не давался, буйно пищал, а бедная матушка летала над моей головой и все время кричала, словно выговаривала: «Не трогай, положи обратно, вырастут детки — в твоём доме всех мух съедят». И тут я увидел, что одна ножка птенчика

была привязана конским волосом на настоящий узелок, а другой конец волоса вмазан в стенку гнезда.

— Вот так умницы, — проговорил я, не без восхищения рассматривая ласточкину работу. Осторожно стилился на пол сѣнника.

## ХОЗЯЕВА СОПКИ

**В** СОЛНЕЧНЫЙ день мы с Чеботаревым поднялись на вершину Крутой сопки, что расположена в сорока километрах от Ладвозера. На ее площадке остановились. С такой высоты перед нами открылся лесной мир на многие десятки километров. Мы видели голубые массивы ельника, еще не тронутые механическими пилами, заросли березняка, уходящего вдаль. Справа синел большой сосновый бор. Мы видели, как змеились ручейки и речки, рисовались покосные полянки. Среди леса, точно зеркальные заплатины, лежали голубые озера. У наших ног рос мелкий ельник. Он был очень густ, и перешагнуть его было трудно. Его надо обходить стороной, чтобы достигнуть хорошего спуска с сопки.

Максим опустил свой посошок на мелкие еловые кусты, из них выбежала глухарка-копалуха, на другом конце площадки послышалось ее ворчание. Серая птица, вытянув шею и распутив подпаренные крылья, топталась на месте и непрестанно кудахтала. Кого-то звала или ругала нас за вторжение в ее владения. Через минуту на ее зов без всякой опаски высыпали ее детишки. Одежонка на них была черная с едва заметными белыми перышками на крыльях. Один птенец вышел на валежину, почистил свой клюв и скрылся в мелкой поросли.

— Веселая семейка, — проговорил Максим. — И никого не пугаются.

Мы сели на валежину рядом с небольшой кучей прошлогодних веток. Я снял с плеч рюкзак, Максим взял меня за руку и показал на плоский камень. Там сидел зверек, одетый в полосатую майку, хвост пушистый, глаза маленькие.

— Бурундук, — прошептал Максим.

Бурундук, словно здороваясь с нами, приветливо покачал головой. Он сидел на камне, и мы догадались, что он очень просит нас уйти с сопки, освободить ему место.

Я взял из-под ноги еловую шишку, бросил ее в бурундука, тот даже не пошевелился. Как сидел, так и остался, только повел глазами в сторону шишки. Ни наши разговоры, ни огонек спичек не смогли его напугать. Он не мог дожидаться, когда мы уйдем, и нетерпеливо подбежал, ткнул мордочкой в колени Максима.

— Прочь гонит, — прошептал Максим, но бурундуку дал полную волю. Зверек отбежал от Максима, прыгнул на камень, а с него ко мне, ударил задней лапкой чуть повыше моего колена и присвистнул.

— Перейдем на другое место, — сказал я. — Хозяин этого хочет.

Мы отошли к елке, на край площадки, и сели на корневища. Бурундук сразу встряхнулся, заскочил на валежину и, пробежав по ней метра три, скрылся в куче веток.

— Там у него терем-теремок и детишки, видно, есть. — Проговорил Максим.

Спустившись в лощинку, мы остановились, а меня сразу привлек чей-то незатейливый, ясный да чистый посвист: «фи-и-и-ить... фи-и-и-ить...» Я посмотрел на черемуху, осыпанную крупными кистями черных ягод, и там увидел бурундука. Он, весело насвистывая, ел ягоды. Максим улыбнулся:

— Приживается, — прошептал он, — в наших лесах бурундуки появились в этом году. Говорят, их к нам на разживу привезли. Пусть множатся на новой

родине, от этого худа не будет. Надо сберечь их от браконьеров.

Солнце уже стояло высоко в зените, время перешагнуло на полдник.

## РУСАЛКИНА КОСА

**В**ОЗВРАЩАЯСЬ из далекого Слободского лесного края, я немного сплутал, на торную дорогу не вышел, а попал на Колючий мыс реки Снежницы. На конце мыса лежала поваленная ветром береза, она разделяла омут пополам. Между березой и берегом шумел водопад, а на берегу сидела седая бабушка и вылавливала из шумящей воды белорыбицу-корбеницу.

В моем вещевом мешке был маленький урезок хлеба, щепотка соли, а время подвигалось к вечеру. Тут у реки я решил переждать ночь и наловить на уху рыбы.

— Здравствуй, бабуся, — вежливо проговорил я.

Бабушка не спеша приложила ладонь к уху:

— Мила-ай, что вымолвил-то?

— С вами поздоровался.

— Добро, коль так-то, а путь-то далече ли правишь?

— Шел к Андоме, а вышел к Снежнице.

— Далековато махнул-то, мила-ай, — бабушка покачала головой и спросила: — По обличью-то ты как будто вытегорский?

— Да, — ответил я, — там работаю да по лесу хожу и кой-что примечаю.

— А чего примечаешь-то?

— Все, чего еще не примечено.

— Складно. — Бабушка выловила рыбину, положила ее в пестерик, спросила: — А ночевать-то где будешь? Ведь все равно тебе до Андомы не добратсья, дорога-то не скатертью шита, не вешками утыкана,

кое-как проторена, на ней и знатоку-то грузно ступает-ся. Садись подле меня, может, ушицы желаешь?

— Я сам попробую взять из воды на уху рыбы. — Ответил я бабушке, снял вещевой мешок, достал лески, наживил червяка и стал закидывать туда, откуда бабушка беспрестанно вылавливала рыбу. Но как я ни бился, поклева у меня не было.

— Н-не клюет что-то, брат, у тебя, — сквозь беззубье улыбнулась бабушка, спросила: — На какую наживу ты ловишь?

— На красного дождевого червя.

Бабушка покачала головой, вздохнула:

— Хариуса туточка, мила-ай, нет. Он выше, за Спелой полянкой, и ниже, за Пеньковой горушкой. Туточки одна корбеница, а она сейчас на червяка не клюет, ее надо ловить на русалкину косу.

Я посмотрел на бабушку и подумал, что она надо мною смеется. Мне показалось как-то чудно, что до сих пор в народе жива легенда о водяной русалке, а спросить об этом бабушку постеснялся. Она уловила мою рассеянность, пояснила:

— Прогуляйся, мила-ай, вон к тому перебору, — она сухонькой рукой указала в то место, где река вырвалась из омута и между берегов побежала вдаль, а в камнях звенела. — Там увидишь в воде серые камни. Сплошь обросли голубенькой длинной вьющейся травой. Это и есть русалкина коса. Нарви ее и с богом насаживай на крючок, рыбка будет.

Послушавшись бабушку, я скоро нашел водяную траву «русалкину косу», нарвал ее и, вернувшись к бабушке, стал ловить. Просидел я подле нее около часа и выловил десятка три корбениц, каждая величиной со столовую ложку. Бабушка от удовольствия, что мне повезло, занимала меня своими присказками.

— В моей младости я видывала всякие сладости, — говорила она. — От одних во рту вкусно, от других грезы, а в глазах слезы.

Она оказалась доброй и словоохотливой. Из ее рассказов, коротких и сжатых, я узнал, что живет она в деревне Куфтыри, которая ласточкиным гнездом прильнула к высокому берегу у Чертова грота. Двое ее сыновей-близнецов, Петька и Никита, погибли в Отечественную войну, а старый дед утонул в озере. Сейчас бабушка на колхозной пенсии и частенько приходит к реке Снежница, садится на бережок и получает полное удовольствие и отдых.

## КОНЕЦ ЧЕРНОГО ДЬВОЛА

**С** ДОБЫЧЕЙ, отнятой без боя у лисицы, россомаха торопилась разделаться, к этому ее звал голод. Прошлой ночью она ничего не достала, хотя с большим упорством обшарила все закоулки чужого и своего уголья, в которых водились зайцы, куночки, лисы и лисовины. Поймать черныша или куропатку она не могла, так как короткие ее ноги с разящими коготками были малоподвижны. Лисовинов и волков россомаха не боялась, но и в бой с ними первая никогда не вступала. Она всегда нападала сверху, ловко, стремительно, и, если ей сразу не удавалось нащупать у жертвы сонную артерию, чтобы разорвать ее, она второй попытки уже не делала, а уходила из боя так же быстро, как и начинала его.

Утолив голод зайчиатиной, россомаха стряхнула с шубейки снежинки, облизала губы, и, закрыв глаза, задними ногами запорошила кровь. Пошла по сосновому бору довольная и спокойная. Она была еще молода, не очень-то опытна в лесных делах, временами сбивала строчку следков, делала бороздки брюшком, а каждый удар ее хвостика оставлял на снегу небольшой, но красиво сложенный веер.

Добежав до просеки, которая шла от речного раздолья Подпредеихи до Кувшиновского большого боло-



та, росомаха остановилась. Минуты две или три она сидела под толстой суковатой елью, посматривала маленькими безобидными глазами на мир, в котором жила. Мимо нее с шумом, ломая тонкие сучья, пробежали две рыси, неподалеку спустился на дневку глухарь-мошник, под носом росомахи юркнула на ель проворная и осторожная белка, а росомаха будто ничего не замечала: сидела смирно, поджав хвост и наострив маленькие ушки. Трудно было поверить, что это небольшое существо в своей ярости непоборимо.

Хитрость росомахи стояла выше рысиной, и если думать начистоту, то она в этом отношении даже лисиц оставила позади себя. Росомаха ненавидела лисиц, никогда не попадалась в ловушку, да и под ружье мало становилась.

Это был злющий хищник, прозванный нашими дедами Черным Дьяволом.

Не имея своего постоянного теремка, росомаха коротала время там, где приходилось, и днем не выходила на охоту. Если и бывали у нее дневные вылазки, то только по случаю острого голода и в злую погоду.

В лесу было тихо, ничто не шелохнется, не прогремит. Одни дрозды, облепив рябину, завтракают, да сойки помалу кричат, кого-то пугают.

Росомаха повертела мордочкой по сторонам просеки, принюхалась и верхним чутьем стала разбираться в запахах утра. Просекой проложена лосиная тропа, следы свежие, утренние. Потница копыт не остыла. Куда они прошли? На водопой к реке, или с водопоя, в Кувшиновское болото?

Лоси ушли на дневку в болото. Росомаха одним прыжком влетела на толстый сук ели, возле которой они прошли, стала осматривать следы с высоты.

Тропой прошло целое семейство. Дорогу торил рогач, замыкала мать, а в середке — два прибылых. Росомаха прыгнула на другую сторону просеки и, не оставив своего следа, пошла искать укрытую позицию

для почной атаки. Изогнув спину, она метнулась на толстую ель, и, выбрав сук с множеством игольчатых лапок, осмотрелась, а потом растянулась на нем, упершись задними лапами в ствол, и задремала.

С полудня пошел густой снег. Он замел, запорошил следы обитателей глухомани. В лес влетел сиверок, зашумел в кронах. Закачались высоченные ели, заскрипели белые березы. Шалый неумный ветрище выл и с каждой минутой усиливал свой бег, сметая снега в увалы, оголяя кочки.

Начавшийся в полдень ветер не унялся и под вечер, пошел в ночь. Росомаха качалась на суку, будто в люльке. Ее крепкая шерстастая шуба не пропускала холода, ветки ели были ей защитой. Вонзив в них свои отточенные коготки, она держалась стойко и каждый новый натиск снежного шквала пробегал по ее спине, только приглаживая шерстку.

Была уже полночь. Росомаха ждала, ждала, жадно вытягивала свежий воздух, ловила запахи. Между веток она увидела, как по просеке, медленно, сторожко передвигалось лосиное стадо. Впереди шел бык с большими ветвистыми рогами, за ним два первогодка и комолая лосиха-мать.

По всей спине росомахи вздыбилась шерстка. Она приготовилась для прыжка на спину рогача. Не доходя метров десяти до ели, рогач вдруг отскочил в сторону и повел стадо с просеки в Царев Бор. Этот неожиданный маневр лосей привел росомаху в ярость. Она повернула голову вправо и увидела перед собой на просеке старую рысь с отвислыми баками. Росомаха проворно оттолкнулась от елки, пролетела по воздуху метра три, ее острые когти вонзились в спину рыси, а клыки рванули сонную артерию. Рысь с ношей метнулась вдоль просеки и, пробежав с десятков метров, бросилась в чащобу, намереваясь ветвями сбить врага со спины. Но сделать это не успела: росомаха оборвала рысиную жизнь...

Изрядно насытившись, россомаха задними лапами забросала тушу снегом и пошла к просеке. Через несколько минут она уже была на густой елке и, растянувшись на том же суку, уснула.

А ветер по-прежнему выл, стонал, раскачивал вершины елей и сосен, заносил следы.

Двое суток провела россомаха на толстом суку. Наступало утро третьих суток. Потягиваясь со сна, она посмотрела перед собой, нет ли лосиных следов. И тут услышала шорохи, идущие от речки, и увидела, как лосиное стало возвращалось с водопооя. Крепкий запах лосятины вздыбил на хребте россомахи шерсть. Теперь впереди шла мать лосиха, за ней два прибылых, а рогач стоял под елкой, где была россомаха и пропускал стадо вперед. Россомаха кинулась на рогача, но промахнулась, разорвав у него только правую ягодицу. Рогач яростно ударил россомаху задними ногами. Страшный удар пришелся зверю по голове. Россомаха отлетела в сторону, ткнулась под сосенку и вытянулась... Рогач подошел, понюхал и, убедившись, что россомаха мертва, стал зализывать у себя рану. Больше его ничто не тревожило. В его заповедном лесу не было другой россомахи.

## ЯШКА ЧИЖ

**НА** ДРУГОЙ год после Великой Отечественной войны, перед самым водоразливом, пришел в нашу деревню Илья Чижов. Мужик обрядный, высок, статен, но слишком сухожилен. На его плечах худо сидел старый кафтанишко, за плечами висел большой пестерь. Наши мужики в то время на бревнах около правления колхоза сидели и думу думали, где им пастуха найти. У каждого колхозника была своя корова или телушка, их пасти надо, а колхозный пастух от единоличного стада отказался. Илья поздоровался с мужиками, пестерь с плеч снял:

— Пришел к вам в пастухи наниматься.

Мужики обрадовались, сразу усадили Илью, стали с ним рядиться. Наш председатель колхоза (а у него тоже своя телочка была) сказал Чижову:

— Только, друг сердечный, плата-то у нас не ахти будет какая. Коров-то у нас всего двадцать три, овец штук с полста, ну и телятишки, конечно, есть. Мы посулим тебе с каждой коровы по две мерки картошки, по корзинке ржи аль муки, какая изладится, ну и по десятку яиц, а сейчас питаться будешь по обходу. Ежели у кого одна корова — живи и кушай один день, у кого корова и овцы — живи два. Вот так-то. Согласен?

Илья поклонился мужикам, ответил:

— Мне не плата ваша нужна, а ваш уют, приют. Я работал в кузнице, да не по здоровью, врачи говорят: ищи, Илья, работу, чтоб на воздухе быть, да к тому же со мной Яшка, отца-то у него, а моего сына, в войну немцы ухрястали. Ведь внука-то жаль, вот я с ним и пошел к вам.

Бабы обступили Илью и наперебой стали просить его показать, что в пестере так сильно шабаркается. Илья бабам улыбнулся, ответил:

— Там мой внучонок, Яшенька. На руках-то его тащить за девять волоков я не мог, так в пестере и нес.

Бабы руками захлопали, в один голос закричали:

— Покажи, добрый человек, внука! Сделай божескую милость!

Илья открыл пестерь, а оттуда точно воробушек выскочил Яшка и сразу в дедовы штаны вцепился, видно, испугался, а Илья ему тихонечко говорит:

— Отцепись, Яшенька. Тут, милый мой, свой народ, не обидят тебя.

В первый же день Илья определился на постой к председателю. Его жена уши наварила, рыбаков напекла и молоком Яшу угостила, а деревенские бабы ему всякой всячины нанесли. Кто дал старую, но чи-

стю рубашонку, кто штаны. В этот день Яшка с деревенскими ребятами крутился—смешной, проворный.

Илья пас коров. Рано по утрам их на поскотину выгонял, а вечером возвращался в деревню. Яшка с бабушкой Феклой оставался, с ней подружился, а она его вместо своего внука считала, хлебушек сама не съест, а Яшке скормит.

Годы работы Ильи в пастухах были для мужиков отрадой. Ни одна животи́на не была скормлена зверю. А Яшка? Он рос крепышом, да и как ему не расти, коль у него вся деревня мамушки да бабушки, каждый его приласкает и гостинцем одарит. С десяти лет Яшка стал настоящим подпаском. Коль захворает Илья, Яшка заменяет деда и тоже у него все идет гладко.

Яшке исполнилось тринадцать лет. Спраздновав свой день рождения, после полдника Яшка отправился осматривать сторожки, не попала ли лисица. В путь-дорогу он взял только острый кривой ножик, подарок деда. До вечера обошел на лыжах все ловушки и, не найдя в них ничего, повернулся к дому.

В одном месте, около Пятого ключа, Яшка заметил, что из-под снега идет парок, близко к отверстию подошел и стал тыкать колышком. Из занесенной снегом берлоги поднялся медведь и с ревом пошел на Яшку. Парень не растерялся, вынул ножик, и в то время, когда медведь, стоя на задних лапах, хотел обмять Яшку передними, ударил медведя ножом так, что распорол ему брюхо. Зловещим ревом встретил медведь удар Яшки, и хотел было обхватить парнишку лапой, но тот изловчился и вторично ткнул медведя ножом прямо в сердце. Медведь упал на снег и придавил собой парня. Выбраться из-под туши зверя Яшка никак не мог, крепко его медведь вдавил в снег. Может быть, от усталости или от чего другого Яшка под медведем скоро уснул.

Подошли сумерки. В домах замигали огни. Илья стоял на крыльчке избы и ожидал Яшку. Но в заполье было пусто, никого не видно. Два раза Илья выходил на крыльцо, а парня нет и нет. Одни звезды, будто высыпанные из лукошка, мерно покачивались в вышине. Затосковал Илья, пошел к мужикам и позвал их на поиски внука.

На десятом километре от деревни нашли его лыжи, а рядом с ними Илья увидел тушу медведя и заплакал:

— Подсобите, мужики, тушу повернуть, да из-под медведя Яшеньку вынуть, видите, вон валенок весь в крови. Не стало моего внучонка. Тут Илья снова заплакал, а мужики сдвинули с места медвежью тушу. Яшка встал на ноги, к деду бросился:

— Я знал, что ты любишь меня и вызволишь из беды.

## ЛЕСНАЯ КУЗНИЦА

**Р**АНО утром я вышел в Саянские болота к Шикозерской низменности и там решил попытать счастья, разыскать глухаринные тока, а попутно заглянуть на старые выжимки.

Стояла мартовская капель. В лесу еще не было веселого песенного наигрыша, только кое-где на проплешинах кричали сойки, хвастаясь светло-коричневыми платяницами с ярко-голубым зеркальцем по подгузку. Раскатисто и дробно тараторили дрозды. Бойкие синицы оживленной делали перелеты. Веселей заговорил малиновый щур. Черная ворона на вершине сухостойны каркала, давая знать, что она уже устраивает гнездо.

Спустившись с сопки, я вошел обратно в болото. Посреди него много обиходных от валежин сосновых боров. Было очень приятно после зимы осматривать леса. Они уже начали готовиться к весне. Краски приняли

особый вид, яркий, не то что зимой. Березки расправляли плечики, выпускали ярко-коричневые почки. На ивушках, в густых зарослях, появились пухлые белые комочки и казалось, что эти беляночки уже налились и вот-вот лопнут, выпустят на свет яркий наряд молодости. Уронив на землю желтые иглы, хвойный лес стоял в нежной дреме, разнося окрест запашок да голубую дымку испарины.

В том месте, где сосновый бор круто обрывается в болото, есть большая прогалина, сплошь изборожденная крыльями глухаря. Значит, в этом месте глухарь облюбовал для себя токовище и теперь готовил главный плацдарм для будущего боя. Посредине этой прогалины я увидел большую неуклюжую сосну с корявыми сучьями, а вокруг нее мелкие ели. Они обступили сосну так, будто спасали ее от сильных северных ветров, подставляя им свою грудь. Тут, на этой сосне, обязательно будет сидеть глухарь, будет додокать, дэдэкать, подзывая копалиху на веселый разговор.

Выискав подходы к одинокой сосне, я, не задерживаясь, обогнул бугор и вышел в маленькие полянки, сплошь заросшие осинником, ельником и чахлым березником. Ельник был так част, что в некоторых местах было трудно через него пробиться, приходилось обходить его, тратя драгоценное время.

Огибая такую густую райку, я услышал шипение, тетеканье и дробные звуки, напоминающие игру на пузырьчатом барабане. Остановился, прислушался и ничего не уловил, подумал, мол, тут, наверно, поскрипывает елка, вершинка которой была сбита молнией. С мелких лесин оседал снег. Едва я успел опереться на лыжные палки, чтобы двигаться дальше, как снова услышал жалобные крики, а потом прямо возле меня пролетела стая дятлов. Сделав росчерк, они снова залетели в райку и опять закричали.

Осторожно пробившись через заросли, я раздвинул еловые ветки и то, что увидел, удивило меня. «Как, —

думаю, — больше полста лет хожу по лесу, а то, что увидел сейчас, встретилось впервые». В густоте елочек стоял большой осиновый пенёк, чуть-чуть подернутый легкой мшаниной. Высота пня метра три, толщина в обхват. По всей окружности, сверху донизу, я насчитал шесть рядов дырок, продолбленных дятлом, и в каждую была воткнута сосновая или еловая шишка.

«Вот ты какой умный! Вот ты где прячешь свой запас на зиму! Молодец», — подумал я и стал осматривать пенёк. На самом вершине, под его крышей, сидела белка и с удовольствием шелушила шишки, выискивая в них вкусные семечки. Вынуть шишку из отверстия белка не могла, а чтобы достать семечки, она держалась задними лапками за сломанную осину, передними дотягивалась до шишки и ворошила ее, вся изогнувшись, подавая передней лапкой еду в рот. Работяги дятлы кружились вокруг белки и вели на нее наступление со всех сторон. Белку это несколько не тревожило. Она спокойно, будто в застолье, завтракала.

На крик птиц к стае примкнул черный дятел с белой грудкой и, нахохлившись, яростно налетел на белку, ударил ее клювом и снова взмыл вверх. Сел на сук, прозвенел громко и тревожно. На его призывный клич появилась еще пара черных дятлов. Заняв позиции по длине всего пня, они окружили белку и повели на нее решительное наступление. Атаковали они остроумно. Сначала отскакивал от пня один дятел и сразу подлетал к белке, но ее не бил, а только низко над ней летал и кричал. Отвлеченная белка, наблюдая за первым дятлом, не ожидала опасности с другой стороны: большой дятел, вцепившись ей в спину, беспощадно наносил удары клювом. С каждым ударом по белке дятел тетекал, будто выговаривал: «так тебе и надо, не воруй то, что другими заготовлено!»

Не выдержав бойкого натиска дятлов, белка одним прыжком оказалась на макушке ели и пошла по лесному кряжу.



## ОСИНОВОЕ КОРЫТО

**О**Т МУРАВЕЙНИКА мы спустились к спаду бойкого ручья и по подошве ярко-зеленого берега шли до соснового бора. Здесь великаны-сосны не толпились в беспорядке, а, будто рассаженные человеческими руками, медленно и довольно ровным строем поднимались по сопке, опоясывая ее терпко-голубым кушаком. Напоенные солнечным напитком, теплым и влажным, бронзовые стволы сосен чуть заметно шелушились, издавая легкий шорох и кидая длинные тени на черничники.

Тропинка часто меняла свое направление. То она спускалась в спад, то поднималась в крутизну, то зигзагом бежала по подошве сопки, боясь на нее залезать. Но и такая дорога не мучила нас, а подбадривала, звала вперед. Сухая подошва, чистая от сучков и валежин, коlobком катилась в дали дальние, часто огибала множество каменных глыб, убегала от них под откос, в лощинку. Смолистый запашок, самый здоровый и ядреный, был нашим спутником, а птичьи песни — забавой.

Спустившись из соснового бора в лощину, мы сразу же встали на утопанную тропинку, пролегающую через покосную полянку. Полянку разрезала речка Дёма. Ее опрятные берега украшала шелковистая трава. Кое-где в извилинах речонки росли кусты смородинника да черемушника. Махонькие ольшанины сгрудились вокруг полянки, сжались от жары их листочки и, будто испугавшись звенящих речных разговоров, хотели спрятаться, но осинник не пускал: он загородил им путь, стеной встал.

Но вот речка повернула вправо и мы увидели на ее высоком сухом берегу три сосны. Под кронами их Максим решил сделать привал. Прежде чем снять рюкзак, он повернулся ко мне и спросил:

— Как, соловушка? Еще ноги твои не прохудились?

— Пока все в порядке, — ответил я.

— То-то! — улыбнулся Чеботарев, слизывая кончиком языка с усов капельки пота. — Сейчас разведем огонь, сварим чаек, просушим портянки и малость закусим тем, что имеем.

Максим снял рюкзак с плеч, бережно его положил на траву подле сосен и, взяв в руки чайник с котелком, направился к ручью. У ручья он не остановился, а повернул вправо к осиновой райке, за старые стожары. Отойдя от них метров десять, остановился, постоял минуты две, сделал еще несколько шагов вперед и сел за густые кусты вересняка. Потом медленно, с большой опаской повернулся в мою сторону и, заметив, что я за ним наблюдаю, рукой поманил меня к себе. Сначала я не понял, зачем я понадобился Максиму, но пошел без всякого опасения. Чеботарев взмахом руки остановил мой шаг и показал, как к нему нужно идти, и как избежать шума и шороха. Я понял условные сигналы и, встав на четвереньки, двинулся к нему. Меня разобрало любопытство.

Перед кустом вереска я уже пополз по-пластунски, боясь создать ненужные шорохи. Наблюдая за мной, Максим то улыбался, то качал головой, то гладил свою опрятную лысину. Когда я поравнялся с ним, он легонько раздвинул ветки вереска. Метрах в пятнадцати от нас, у широкой и глубокой осиновой колоды стоял большой бурый медведь. По тому, как он жадно пил воду, было ясно, что не любопытство, а жажда привела его к колоде. Но ведь рядом с колодой протекал ручей! Почему он не залез в речную воду и там не утолял свою жажду?

Медведь пил, не торопился. Досыта напившись, он залез в колоду, лег в нее, как в ванну, и передними лапами стал поливать себя водой. При этом он больше выливал воды из колоды на землю, чем на себя.

— Вот какой прохвост,—с раздражением тихо проговорил Чеботарев. — Нашел чем себя забавлять. Так-то он всех заонежских лосей может отсюда выгнать. Водопой-то тут не медвежий, а построен специально для лосей. Речонка-то по летам высыхает. — С этими словами Максим поднялся, вышел из-за кустов и крикнул так, что медведь испугался, рывкнул, будто выругался, вывалился из колоды и побежал в густую листовенную поросль. Пробегая покосной полянкой, он раза два повернул голову в нашу сторону и опять рывкнул с обидой.

Мы подошли к колоде. Она была вытесана из толстой осины и вмещала в себя не меньше трех десятков ведер воды. Бока колоды сплошь обросли мшаниной, а торцы подернулись лишаями. На ее дне была чистая вода. В край колоды, который упирался в крутобьющий ключ, ввернут металлический штырь, а к нему приделан щит с надписью: «Охотник! Если ты найдешь эту осиновую колоду без воды, не поленись, наполни ее до краев. За это тебе заонежские лоси поклон воздадут».

Чеботарев подал мне чайник, а себе оставил котелок, сказав:

— Пополним запасы, соловушка. Я буду брать воду из ключа, а ты из ручейка.

От теплых лучей полуденного солнца из речной воды тончайшей кисеей поднималась испарина, легкая, что дыхание новорожденного. Над покосной полянкой, высоко в густых сливках неба, кружилась черная птица, беспрестанно повторяя одно и то же:

— Пи-и-ить... пи-и-и-ть...

## АСАФ И ВЫДРА

**В** ТЕПЛЫЙ майский вечер подружился я с дедушкой Асафом Виссарионовичем Кофейниковым. Мы в ту пору с отцом в Белой поляночке, подле Саражи-

реки, овес сеяли. Отец работал трактористом, а я на вороной кобыле подвозил с нефтехранилища бензин и солярку. Под вечер распряг кобылу, пустил ее на луг, а сам с удочкой пошел на реку. Хотелось на уху форели поймать. Подошел я к Горбатому мыску и тут увидел Асафа. Он сидел на берегу, вздыхал, а по щекам его текли слезы. Я спросил, не заболел ли он.

Дед посмотрел на меня, руками замахал, ответил:

— Сызмальства не баливал и к лекарям не навевывался. К ним, паря, дороги не знаю, с рожденья здоровьишком не обойден.

— Тогда зачем же вы плачете?

— А то, братец ты мой, я плачу, что в такой-то вот жор форели у меня из банки все черви выползли, недоглядел, а где их возьмешь, червяков-то? Здесь-то их днем с огнем не сыщешь, а в деревню идти—пять верст ногами мерять трудно, ноги-то у меня потертые.

Я в душе рассмеялся над слезами деда, подал ему свою банку червей, а сам пошел к стану. Думаю, пусть дед утешится.

Утром, как только кончилось зоревание, к стану подошел Асаф, будто клубок подкатился, весь в улыбке. По его серым глазам я понял, что старик в полном своем удовольствии и с большой удачей.

В канун Фролова дня Асаф пригласил меня на Саражу за форелью. Осень в тот год выдалась теплая. Мелкий и нечастый перепад дождя не растворял дорожной грязи. Дороги были сухие, а тропинки в лесу мягкие. В лесной дали было весело, свежо и просторно. Пернатые готовились покинуть свои места, собирались в стаи. Ласточки уже улетели на юг. Около пашен стадились яблоки, на гороховые полянки по утрам и по вечерам слетались утки, а потом улетали на большие озера и там тренировались для большого перелета. На болоте забеспокоился гаршнеп: встанет на кочку и кланяется земле, и все с жалостным криком. Ему, видно, не хочется покидать родные места. По ут-

рам крупные журавлиные стаи устраивали полеты над Ильинскими горушками. Высоко в поднебесье, с песнями, в которых было больше печали, чем радости, пролетали гуси, за ними потянулись лебеди.

Остановились с Асафом в тот день у омута Горбатого мыса. Асаф сел на валежину подле куста ивняка, а я пристроился на кочку рядом с ним. Закинули лески в воду и стали ожидать поклева. Люди мы некурящие и, чтобы скоротать время, стали посматривать друг на друга да догадки строить, почему, мол, долго форель не клюет? Так посидели полчаса, а потом Асаф говорит:

— Ты, паренек, не удивляйся, что поклева нет. Надо уметь ждать. Бывало сутки сидишь у омута—и ни туды, ни сюды, нет поклева, а все равно не уходишь. В этом, паренек, своя наука вложена — закрепление слабых нервов.

Скоро мы перешли на другое место, видимо, и дед не выдержал безделья. Он сел на сухой песчаник под куст ивы, а я — рядом с ним. Только успел Асаф закинуть лесу, как поплавок ушел под воду. Дед крякнул, выудил крупную форелину, присвистнул:

— Начинается, починается, зевать некогда...

Я закинул лесу в то же место, куда только что забрасывал дед, но поклева у меня не было. Дедушка другой раз метнул лесу и опять выудил форель. Меня взяла досада, почему у деда клюет, а у меня нет. В чем тут заковычка?

Асаф посмотрел на меня с усмешкой:

— Ты, парень, не осмыслил рыбной ловли. У тебя с забросом лесы получается ошибка. Погляди, как я закидываю, может, поймешь.

Как я ни присматривался к нему, ничего понять не мог. Закидывал лесу я так же, как и он, уду держал в руках по его примеру, но поклева нет как нет. А дедовский пестерик наполнялся серебристой рыбой. Асаф увидел мои старания, и волнение мое:

— Ничего, парень, ты не смыслишь. Погляди, как я на крючок червяка насаживаю. Ты хочешь крючок продеть через голову, а червяк-то после этого сразу умирает. Форели подай живую насадку. Ты червя наживляй за серединку, за междусердечное пространство, тогда наживка не умрет.

Он взял у меня леску, посмотрел на крючок, по-своему перевязал его и, подавая мне, тихо проронил:

— Пробуй, теперь получится.

И я попробовал. Закинул леску ближе к подмывному берегу — форель сразу взяла наживку, я вовремя подсек ее, и у моих ног забилась рыбина. Асаф в кулак кашлянул, бородку пригладил, заметил:

— Добро, — на меня посмотрел, — теперь, парень, ты умеешь ловить форель, так ступай на тот берег. Под вечер рыбица на отмель выбегает, а ты вон там, — он показал на куст смородинника, — садись и починай удить, а я по вечеру тут, в омуте, блесну покидаю, может, лосося поймаю.

Я обогнул мысок, по каменистому перебору перешел на другой берег реки, разыскал куст смородины и уселся на торчащий из песчаника пенек. Закинуть в воду лесу я не успел. Неподалеку от себя услышал всплеск воды. Сначала подумал, что с подмывного берега свалилась в воду глыба земли, а когда посмотрел в плесо, испугался. Погрузившись по горло в воду, держа над ней удилице обеими руками, ко мне шел дед Асаф. Я бросил удочки, кинулся на песок и сразу заорал:

— Вправо! Ко мне шагай, говорю, ко мне! Там водоворот! Он затянет тебя!

А дедушка сердито ответил:

— Все, паря, вижу. Тебя вижу, и водоворот вижу, а ты вот не видишь, что мою блесну схватила крупная рыбина, сняла меня с берега и к себе на гостеванье повела. Еще добро, что омуток тот не глубокий, утопленника не будет.

Сказав это, старик направился к отмели, а выйдя на нее и стоя по пояс в воде, покрикивал:

— Ишь, поганая, как под водой бьется! Н-но, милая, не топорщись! Будь ласка поумней, вылезай на бережок скорей! — Но добыча не выплывала. Мы не знали, какая рыбина блесну схватила, но по ее упорству чувствовали, что сильна, значит, велика.

Леса снова пошла к водовороту, потащив за собою Асафа. Он поставил пошире ноги, откинулся сколько мог назад:

— Вишь, шельма, куда загибает. Не выйдет, милашка, не выйдет! От меня все равно не уйдешь, я упрямый старик...

Дед хотел направить рыбину ближе к отмели и там поводить ее для утомления, но леса натягивалась, звенела, что струна на гитаре, а рыбина все ж уходила. Потом она упряталась под коряжину подмывного берега и там затаилась.

Досадно, — прошумел дед, переводя дыхание. Однако еще разок попробую. — И он пробовал выловить рыбину из-под коряжины, то натягивая лесу, то отпуская ее, и в конце концов, применив все свои навыки по рыбной ловле, заметил: — Не сдается. Боя не принимает и в руки не идет.

В такой напряженной борьбе старика с рыбиной прошло немало времени. Наступил вечер, за ним и ночь. Дед устал, весь продрог, у него стучали зубы, а удочку из рук он не выпускал. Тогда я предложил Асафу поменяться ролями, но упрямый старик не согласился.

— Ты, паря, ступай разживлять огонек подле сосенки, а я, как намертво закреплю уду в реке, приду греться. Напуганную-то рыбину из-под коряги не достанешь, а леса моя не оборвется.

Под сосенкой я развел огонек и на него скоро пришел дед. Он не стал раздеваться, чтобы просушить белье, а несколько раз сбегал в лесок, принес сухих

ольшанин, сложил их в костер, потом сделал несколько приседаний и взмахов руками.

— В позапрошлом году я больше полусуток гулял по воде, лосось меня проволочил. Уды в том омуте закрепить нельзя, там сплошь камень и ни одной песчаной дорожки. Вот и довелось мне с удой в руках ночь коротать, ходить за рыбиной. Выстоял. Выудил лосося, да такого, что отродясь не вылавливал, целых десять кило, славный вышел пирог. Думаю, что этот не меньше.

Время до рассвета мы коротали у огня. Спать не хотелось. Думали о рыбине под коряжиной. Вот уже сверкнул первый луч зари. Асаф поднялся:

— Теперь ты, паря, ступай в воду. Возьмешь уду, держи крепче, я пойду на другой берег и там колышком рыбине побудку устрою.

Дедушка пошел к каменному броду, а я залил водой огонек, направился к уде. Старик и тут опередил меня. Он оказался на другом берегу раньше, чем я успел взять уду в руки. Раздался всплеск воды, и удилице, изогнувшись в дугу, вывалилось из песчаника. Я все же изловчился и уже на плаву схватил его. Упираясь ногами в дно, хотел задержать рыбину и не мог. Она рванулась вперед и повела меня за собой на отмель, а потом круто выскочила... на берег. Увидев рыбину, я испугался: она кинулась в траву и направилась к лесочку. Что за рыбина, какой она породы? Я в жизни таких не видывал. Может быть, это совсем не рыбина, а сам водяной, о котором я наслушался в сказках.

Я уже хотел было бросить уду и бежать к деду, как он, смеясь и тяжело дыша, догнал рыбину и прикрыл ее своей фуфайкой. Когда добыча угомонилась, он покачал головой:

— Черт, видно, не туда шел. За всю свою жизнь я не видывал и не слыхивал, чтоб выдра блесну хватил!



Только тогда я понял, за кем мы гонялись больше полусуток. Когда выдра пришла в полное спокойствие, дед осторожно вынул у нее изо рта блесну, спеленал ее фуфайкой так, что была видна лишь ее голова.

— Теперя, паренек, нам удачи не будет, — сказал он. — Где выдра, там рыба притаилась, не сыщешь. Пойдем-ка в деревню.

— А выдру? — спросил я деда, боясь, что он оставит ее у лесной реки.

— Выдру? — переспросил дед, — давай-ка ее, греховодницу, отнесем в нашу школу и подарим ребятишкам в живой уголок.

В зимнее время мы с дедом Асафом частенько навдывались в школу, смотрели на свой трофей и были рады, что выдра попала в надежные руки.

## БЕЛЫЙ КОСАЧ

**П**ОДГЛЯДЕЛ я однажды косачинные посадки около Скупого болота в Куржеской долине. К тому болоту приткнулась маленькая овсяная поляночка, и бежит она от болота на косогорчик, а там березки растут. На эти березки косачи садятся, сначала осматриваются, а потом уже на овсяную отаву слетают, завтракают и ужинают.

В густой березовой райке смастерил я из елочек шалаш, внутрь сена положил, чтобы сидеть было мягче, на зорьке к березкам повесил чучелки.

Как только заиграла вечерняя заря, я в шалаш сел и стал поджидать прилета. Вокруг стояла сторожкая тишина, и я боялся даже шевельнуться.

Чучелки, сшитые из черной материи — «чертовой кожи», набитые опилками, хорошо проглядываются. Сидят, браво смотрят вперед и никакого подозрения, будто и в самом деле взаправдашние косачи с красными ресницами.

Минут через десять слышу — трепещут крылья. К чучелкам подседа тетерка и сразу стала с почками обряжаться. Я сидел, смотрел на нее, а не стрелял. Самок в нашей родовой никто никогда не убивал, считали это превеликим грехом.

На веселый говорок тетерки сразу прилетел косач-черныш. Одет он был в черную куртку и только кое-где по его бокам были понатыканы белые перышки. Он подсел к тетерке, с нею поздоровался и тоже стал березовые почки шелушить.

Я поднял ружье, взял прицел и хотел было нажать на спусковой крючок. Но в это время чуть пониже черныша села белая птица.

Осмотрел я ее внимательно. Она спокойно, как и черныш, срывала почки да клювом дробила и никого не опасалась.

Засмотрелся я на такую беляночку, ружье положил на колени, на предохранитель спуск поставил, стал внимательней и зорче рассматривать птицу. Она была вся белая, что первая пороша осени, голова тоже белая, глаза малинкой поблескивают, вокруг глаз полукруг бровей красного цвета, подгузок чуть-чуть с помаринкой просизи.

«Так кто же ты есть?» — Сижу в шалаше, смотрю и думаю думаю: — Куропеть? Нет, не она. Та на деревья никогда не садится, всегда с землей роднится. Курица? Может, из деревни пришла в лес, подружилась с чернышами и летать научилась? Нет, нисколько не похожа.

Долго я думал, а придумать так ничего и не мог. В это время около шалаша пробежала лисица. Завидев ее, птицы снялись с березки. Я беляночку глазами проводил до лесной чащи. Вместе с чернышом и тетеркой она улетела, на макушку большой сосенки села, оттуда свой голосок подала:

— Чуюу-фышь!..

## СТАРИК И ОЗЕРО

**Б**ЫЛО ЭТО давно, лет двадцать пять тому назад. В озерное устье реки Андома мы изладились вдвоем, я и старик из Сорочьего поля, Митрофан Прокопович. Рыбачья изба, которая по праву принадлежала ему, стояла в шаровой березовой рощице и была поистине местом отдыха. Двумя небольшими оконцами она глядела на возвышающуюся над озером Онего деревню Андомская Гора. Казалось, что эта деревенька раскинулась над озером прямо на отвесных скалах его берегов и обмывается с трех сторон. Гора, будто маяк, далеко видна из лесной проседи и с озера. В деревне всегда сухо. Ни слякоть, ни дождь не растворяли песок в грязь, и только на ветру над деревней поднимался песок, застилая собою крыши домов, утоптаннные дорожки, палисадники с худенькими черемушками. Когда выглянет солнышко, деревня оживает, дарит и людям и озеру ненаписанную красоту, от которой порой трудно отвести глаза.

Другие два окна смотрелись на Бесов мыс. Об этом мыске, небольшом, будто всунутом в воды Онего, рассказано много легенд, поверий, сказаний, а самое примечательное в нем то, что до нашего времени дошли изображения на каменных плитах одиннадцатого столетия. Когда проходишь мимо этих глыб, не можешь не видеть красивых лошадок, рыцарей с копьями, маленьких человечков в панцирях, щиты спартанцев и разную письменность, и пока никто еще не мог разгадать тайны этой письменности и рисунков. А ведь не природа же их нарисовала! Нарисовали их люди, заселявшие эти места Бесова мыса. Может быть, по причудам, созданным здесь из каменных глыб, наши предки и назвали этот маленький мирок: Бесов мыс? Может быть. Интересно было бы произвести тут раскопки, посмотреть, что лежит на глубине мыска, Мне кажется,

что все сказания об этом чудном месте, все каменные плиты — живые наследники прошлого, рассказывающие о том, когда и кто пришел впервые в эти места и создал первое поселение.

В избе у рыбака было опрятно. Тесовый пол покрыт мешковиной, на нарах постланы тюфяки. Чашки, ложки, судки и прочая кухонная утварь сложена в небольшой самодельный шкафчик. Один стол в избе был добротный, из карельской березы, резной. На нем белая скатерть с петухами. Рядом с ним стоял другой — небольшой, грубовато сколоченный. Рыбаки, по-видимому, редко садились за круглый стол, а предпочитали чай пить или обедать за дощатым столом.

Над дверями избы, на доске написано: «Добро пожаловать, дорогой охотник и рыболов! Входи! Это твой дом. Береги его».

Далее следовали правила, указывающие, как надо пользоваться рыбацким и охотничьим домом: все держать в исправности, беречь имущество, осторожнее обращаться с огнем и т. д.

Митрофан Прокопович не был похож на древнего старичка, хотя ему уже перевалило за восемьдесят. На его лице не заметно ни одной морщинки. Может быть, волосы и борода скрывали их? Глаза у него острые, большие, под полукруглыми дугами седых бровей. Зубы белые, что турнепс. Подружился я с ним лет десять тому назад, и еще тогда он рассказал мне историю этой избы.

— В конце четырнадцатого года меня вызвали в Петрозаводск, к воинскому начальнику. Направили к докторам здоровье проверить. Ну, прошел я всех медиков и думаю, что меня в артиллерию запихают, пушки подкатывать, потому как был здоров и силен. Но ошибка. Воинский начальник такой щуплый старичок был, а полковничьи погоны носил. Сидит за столом, щурит на меня подслеповатые глаза да и говорит: «Ты, Митрофан Тулулов, призван в армию защищать царя, веру

и отечество». — «Так точно», — отвечаю я ему. А он улыбается: «Тебя, солдат Тулупов, я назначаю младшим унтер-офицером»... Я тогда ужимаю плечи, говорю ему: «Ваше высокоблагородие, да какой из меня унтер? Я и в строю-то еще не бывал, поучиться надо». А он, шельма, опять-таки глядит на меня и говорит сердито: «Не ваше дело разбираться в назначениях, а мое». «Как изволите, — опять же отвечаю я. — Куды пошлете, туда и пойду». А он: «Поедете с десятью солдатами в Озерное Устье, там построите для себя барак, будете ловить форель и поставлять ее во дворец Его императорского высочества Николая Второго. Это есть высочайший указ и выполнять оный возлагаю на вас». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» — ответил я, и на этом мы расстались.

Наутро мне привели десять солдат: один вепс, три карела, два финна, ну а остальные русские. Ознакомил я их с указом императора, нагрузились мы провизией, получили солдатское обмундирование и выехали в Озерное. Сначала хотели обосноваться в деревне Андомская Гора, а потом отдумали и начали для себя строить дом, вот этот самый.

Митрофан улыбнулся, посмотрел на избу, продолжил: — Ну вот, за зиму построили. Лес-то рядом, возить не надо. Срубишь сосну — и под дубинушку к месту. Все сладилось. Новоселье справили. Весной стали ловить форель. Много ловили. Сами досыта ели, мужикам деревенским давали и царю посылали. Сами в Питер не ездили, петрозаводский исправник за рыбой нарочного посылал. Ну тот, конечно, парень свой, бывало, что и водочки привезет, так вечером кутили. Хоть и сладко жилось, парень, но тоскливо. Как так, думал я: наш солдат в окопах вшей кормит, умирает за Русь святую, а мы тут как на празднике, кажинный день у нас и свежак, и копченая рыба, и всего в достатке. Не хватало одного — общего языка. Всяк говорил по-своему. Сперва мы чурались друг друга, а через годик свык-

лись, и зажили одной семьей. Сначала я рапорты воинскому начальству писал, чтоб, значит, меня отсюда убрали, да рапорты остались без ответа.

В гражданскую войну Митрофан воевал за советскую власть. В бою за Благовещенск был ранен, вылезился, вернулся домой, женился и снова стал заниматься рыбной ловлей. Была у него семья: жена, трое сыновей и дочь. Сейчас он живет один. Жена умерла лет пять тому назад, трое сынов погибли в Великую Отечественную войну, дочь Анна утонула в озере, попала в шторм, когда возвращалась с рыбалки, и нашли ее у Насонова: волны выбросили тело на берег. Есть, правда, у старого внука, живет она сейчас в Деревягино и часто навещает деда.

...Набежал ветерок, и стало немного прохладней. Старик после сытного обеда лежал на сыпучем песке, подставив волосатую грудь лучам теплого солнца. Вода плескалась у его ног.

— Добро стало жить-то? Как думаешь, паря? — спросил Митрофан.

— Может, и добро, кому как, — ответил я.

— Нет, ты, паря говори прямо, без всяких половинок.

— Конечно, — отозвался я, — каждому человеку дано свое, и если это свое он уважает, то и жизнь у него хорошая, а ежели не уважает, то и горе его частенько навещает. А в общем-то жизнь после войны наладилась.

— Вот, вот, наладилась, — он почесал волосатую грудь, чуть приподняв голову от песка: — А кто ее ладил? Мы, старики, ее ладили. А как? Работой ладили, не боялись ни бога, ни черта, ни самого дьявола. Вот как.

Он замолчал, посмотрел на солнце. Оно стояло уже в зените и намеревалось перевалить к западу. В небольшой роще, разросшейся вокруг избы, было единствен-

ное спасение от жары, и старик перешел в тень березки, достал из кармана серебряный портсигар, взял сигаретку и прикурил от зажигалки:

— Портсигар этот подарил мне наш летчик в июне сорок второго. Подле Бесова мыса, в малой излучине Андомы-реки, я в ту пору сети осматривал и слышу шум, а потом вижу — кувыркается самолет, и над ним что-то белое висит. Это белое тоже к земле приблизилось — парашют, а под ним — человек. Когда подошел я к нему, он был без сознания, раненный в грудь. Я кое-как остановил кровь, перевязал рану своей нательной рубахой, взвалил его на плечо и шестнадцать километров до больницы нес.

К нему в больницу много раз наведывался. Выжил он, а как стал уезжать, мне вот этот портсигар и подарил. Сказал большое спасибо, расцеловал, а потом мне за него медаль боевую выдали.

Густой дымок от сигареты путался в листьях и рассеивался. Старик закрыл глаза, видно, его одолела дремота, а я взялся за удочки.

Солнце будто от натуги стало алым. Оно скатывалось за широкоую зубчатку лесного края. Воздух все еще был теплый и духота одолевала меня. Выудив из озера несколько мелких лещей, я уже собирался выехать на лодке в озерное устье реки, как услышал голос старика. Он подошел ко мне посвежевший после сна:

— Идем-ка, парень, чаевничать да зорьку подтягивать. Может, на вечеринке-то и будет удача.

После чая Митрофан Прокопович сказал:

— Ты, паря, поезжай в самое устье, в бухточку от протоки Ялеги-речки. Становись и лови с богом, сколь тебе надо. Клев будет. А я с блесной поезжу на лодке, может, крупная рыбина позадорится.

В сумерках я вернулся к избе без большой удачи. В моей кошевке было несколько крупных окуней, пять ершей и подъязок. Старика еще не было. Он проезжал с дорожкой подле меня раза четыре, что-то мне кричал,

но что я не расслышал. Потом он уплыл к Ялегской протоке. Время шло, ночь вступила в свои полномочия, мошкара улеглась на покой, и высоко в небе на синем челноке выплыла полная луна, прокладывая голубую дорожку на озерной глади. Озеро было в это время тихое, и причин для беспокойства о старике, ровно, не было. Я сварил уху, поел, и, выпив крепкого чая, лег и вскоре заснул.

Лучи солнца поутру заглянули в избу, мелкими зайчиками запрыгали на стене. Я проснулся, — старика не было. Я встревожился: где он? Что с ним? Вышел из дому. Вокруг было тихо, озеро гладкое, чистое, мерно покачивало воды в берегах. Солнышко вышло к орбите и лесные поляны ожили, зашумели листьями. В густых ветвях над моей головой заговорила малиновка, потом запела московка, и, нежно позванивая в воздухе, кружился канюк, прося пить... пить... пить...

Я сразу выехал на поиски старика. Ведь не мог же он, не сказавшись мне, уехать в Сорочье поле! Но и в Андомскую Гору ехать Митрофану тоже незачем, там он ничего не оставил, ничего не забыл. Так где же он? Смутные предположения, куда мог деться Митрофан Прокопович, лезли мне в голову, и от того стало беспокойно. Я вынул из лодки снасти, вычерпал просочившуюся за ночь воду, и на веслах поехал разыскивать старика. Я знал места, где он подолгу просиживал с удочками. Обогнув Бесов мыс и две прилегающие к нему бухточки, Митрофана не обнаружил. Но ведь он не иголка, которую трудно сыскать в траве. Искать все равно надо. Сначала обследую все закоулки озера, а уж потом поплыву к Ялегской протоке. На поиски его на озере Онего я потратил больше полдня, и надо ж такому случиться: искал все не там, где было надо. Направившись в Ялегскую протоку, я сразу увидел стариковскую лодку, а потом и самого Митрофана. Он лежал без сознания на дне лодки. Рядом с лодкой, запутавшись в густой тресте, вверх брюшком покачивался за-



ливавшийся водой огромный лосось. Я припал к сердцу старика, послушал и убедился в том, что он еще жив. Он запутался в жилке дорожки. Крепкая леса обвилась вокруг его туловища, прошла под левой мышкой и через шею. «Умный рыбак, а как допустил такое?» — я стал освобождать старика от леса, ножом перерезал ее в нескольких местах. Митрофан пришел в себя, отдышался и тихо проговорил:

— Чуть было из лодки не выпал, но удержался все же. А лосося, паренек, ты себе возьми.

Потом передумал, резонно проговорил:

— Лучше, паря, ты лосося в детдом отдай. Пусть ребятишки едят, да деда вспоминают. — И снова впал в забытьё.

Я привязал лесу от лосося к своей лодке, пересел на стариковскую ладью и что было силы стал грести, стремясь быстрее доставить старика к Андомской Горе и сдать там в больницу. Но близок локоть, да не укусишь. Хоть и видна была Андомская Гора, однако до нее еще шесть километров. Я смозолил руки, весь вспотел и стал ослабевать: как никак мне тоже под семьдесят. Через сорок минут я добрался до причала, взвалил старика на плечи, и вскоре был уже в больнице. Осмотрев Митрофана, врач подошел ко мне, тихо сказал:

— Застой крови, видно, леса крепко стянула старика, раз кровоточили те места, где она прошла.

— Выживет? — с волнением спросил я.

— Такие не умирают, — ответил врач. А я крепко пожал ему руку, вышел из больницы и поплыл обратно. Лосось был по-прежнему на месте, вверх брюшком. Я подцепил его багориком за жабры и, надо признаться, с трудом втащил на дно лодки. Он был велик и весил, по всей вероятности, не менее пуда.

В тот же день я отвез лосося в детский дом, а сам уехал в Вытегру. Через неделю я приехал навестить старика. Встретил он меня почтительно, даже расцедо-

вал. Когда я засобирался домой, он из-под подушки вытащил серебряный портсигар и сказал:

— Без худа добра не бывает. Спасибо за все. Я дарю тебе самое дорогое — портсигар летчика, пусть он будет у тебя. Когда станешь закуривать, вспомнишь и меня и летчика.

Я принял этот бесценный сердечный дар, и теперь, когда достаю его из кармана, прикуриваю от зажигалки, вмонтированной в него, всегда вспоминаю доброго, умного старика.

## ПЕСНЯ БОЛЬШОГО ОНЕГО

*Светлой памяти*

*Григория Ефимовича Самолова*

1

**СОЛНЦЕ** скатилось за игольчатую зубчатку Оштинского кряжа, а мы с Григорием Ефимовичем все еще сидим на старом валуне подле большого Онего и нам не хочется покидать это место. Воздух чистый, вокруг свежо и просторно. Над нашими головами с хворканьем, легко шумя крыльями, пролетает вальдшнеп, утиный косяк со свистом проносится к большой протоке Кобыльего озера. В маленьком болотце закурдюжили журавли. Далеко в синем небе одна за другой вспыхивают звезды. Григорий Ефимович часто поднимает к глазам бинокль и всматривается в даль озера, туда, где впадает Вытегра-река. Что он там видит? Чего ожидает? А озеро спокойное, будто зеркальный поднос, и луна отражается в нем.

— Эх, браток, — вздыхает Ефимович, поворачиваясь ко мне. Глаза у него теплые, карие, светятся, искорки в меня кидают. — За свою-то жизнь я много объездил, и уж по правде сказать хватил хорошего, а еще больше худого, но от воды никогда не бегал, прикипел

к ней. Был я на батюшке Амуре, плавал по Лене от истоков до устья, рыбачил на Байкале, и, честно признаюсь, ни одна вода так не притягивала меня к себе, как эта, онежская.

— А что ты в воде-то нашел хорошего? — спросил я его.

Григорий Ефимович сразу вспыхнул, загорелся и глаза округлились:

— Тебе трудно понять, — заговорил он, — ты рыбак-любитель, пять дней весла сушишь и только на шестой выезжаешь в озеро и рыбачишь на червячка. Тоже наживка... одна потеха.

— Отдых, а не потеха, — возражаю я.

— Может быть, для тебя и так, а для меня... — Он поднимается с валуна, большой, высокий да широкий в плечах, ставит ногу на серый камень, глядит на озеро, а там пусто. Голубеет вода, кое-где означаетя легкая рябь. Пока Григорий Ефимович обозревает даль озера, я думаю, с чего же мне начать песню про большое Оне-го? Может быть, с белых берез, что так плотно прижались подле воды на узком перешейке Петровского канала и Онего? Может, сказать о черемухе, так щедро рассыпанной по всему побережью? Черемуха вся в цвету, и кажется, что по берегам только что пробежала первая снежная пороша, покрыла белым пуховичком лиственный лес. Днем, когда налетает ветер, белые пушинки срываются, падают в воду и плывут к береговой отмели.

Может быть, поведать о малых борах с бронзовыми мачтовыми сосенками? Там, на зеленой шубейке земли, не найдешь сучков и валежин, все прибрано, приглажено и по веснам оживает цветной ковер по-новому.

## 2

Двадцать лет я езжу рыбачить на Онежские луды, на маленькие озера подле Онеги, устаю и тут же отды-

хаю, открывая тайники природы. В эту раннюю весну я впервые увидел диковинку наяву — серебряный косяк корюшки.

Григорий Ефимович круто спустился к озерному берегу, сложил ладошки губником и, как Соловей-разбойник, просвистел в них три раза.

Я принял этот посвист за шутку, смотрел на Онего, а оно весело, с азартом играло серебром разменным. «Почему? — думал я, — ведь ветра нет, ничто не шелохнет, не прозвенит». Потом, когда серебряная рябь стала видна простым глазом, я понял, что это идет большой косяк корюшки. Со скоростью пешехода косяк направлялся от устья реки Вытегры к Черным пескам. Когда он миновал Черные пески и вышел к тихому течению реки Мегра, свернул вправо и, поблескивая серебристыми брызгами, направился к Мегринской косе с верблужьим горбом.

Причалил катер рыбзавода. За его кормой был большегрузный карбас. Он привез рыболовные снасти и семь рыбаков, семь онежских богатырей. Среди них оказался только один старый рыбак, у которого давненько морщины избороздили лицо, да и волосы были, что первый ленок. Заглавный рыбак Терентий вышел из карбаса, широким шагом подошел к Григорию Ефимовичу, без улыбки, но тепло проговорил:

— Спасибо за сигнал, — помолчал и разочарованно дополнил, — но зря вы беспокоились.

— Почему? — спросил Григорий Ефимович.

— Косяк корюшки идет не сюда, а к протоке Кобыльего озера, туда надо двигать.

— Успеем?

Терентий пожал плечами, на затылок сдвинул серую кепчонку, откинув башлык брезентового плаща, и повернулся к рыбакам:

— Как думают ребята?

— Надо ехать в протоку, — ответил старый рыбак

Петрович. — Сейчас косяк огибает Новый мыс, скоро подойдет к Кобыльему, пора и нам.

Развернувшись в устье Мегры, катер рыбзавода взял направление к каналу, чтобы по его водам приплавить рыбаков к протоке Кобыльего озера. Мы с Григорием Ефимовичем, боясь отстать от быстроходного катера, решили миновать обводный канал.

### 3

Редчайшая, опьяняющая красота встретила нас у Кобыльего озера. Бугристые сопки, поросшие ровным сосняком, отделяли большое Онего от Кобыльего, выставив вперед три мыска, и они, будто часовые, сбежав к серой гальке, берегли покой. Перед мысами — полукруглые обрывы, сплошь переплетенные сухожильными корнями сосен.

Сосновые боры, озера, заливные луга, цветущая черемуха, белые березы с опущенными зелеными ресницами, небольшой, но уютный домик рыбака у Кобыльего, протоки малые и большие, то вбегающие, то выбегающие из Онего — все это малости, а не главное, о чем мне хочется рассказать. Может быть, я неправ? Может быть, все это и есть главное? Много я встречал и провожал весен на берегах озер и рек, и каждая из них была непохожа на предыдущую. Прошлогодня весна открылась звучной песней с веселым танцем журавлей и была холодна, что первый ледок. А эта? В ней свое, доброе тепло, которое она и раздаривает вокруг для того, чтобы скорей созрели живительные соки. В этой весне свои напевы, и я впервые услышал голос ночного соловья. В черемушнике он запел. Как запел!

### 4

От устья Мегры до Кобыльего озера четыре километра. Четыре километра красоты, от которой трудно

отвести глаза. С высокого бугра видна деревенька Усть-Мегра Онежская — это база рыбаков. На ровном плато, прилизанном волнами, на языке, высунутом из реки Мегры и Онего, люди давно построили себе деревянные домики, ладные и просторные, жили в них, пахали поблизости неширокие поля, косили заливные дуга, а главное ловили рыбу, много ловили. Ловушки у них были разные: корекод, гавра, тонкие сети и продольники, мережи и массельги, мутники и невода. Ловили сига и палью, лосося и форель, судака и щуку, леща и язя, корюшку и ряпушку, налима и даже стерлядь.

Сейчас на месте Мегры Онежской остались три домика и склады рыбзавода. В одном домике живет старый охотник, бакенщик Василий, или дедушка Вася, как его величают рыбаки, наезжающие по выходным из Вытегры. В другом домике — рыбацкий бригадир Терентий, а в третьем — кладовщик рыбзавода. Люди живут, не ощущают одиночества, поют песни, детишек нянчат, и с малолетства приучают их к воде. Я впервые этой весной попал у Онежского «Лукоморья» в рай земной, но не в сказке, а наяву, и без всяких домислов и преувеличений. Я по-новому увидел неоглядный мир природы, хранящий в себе большой покой, несказанную радость и вольную мятежность.

## 5

В прошлом году на рыбалке подле Онего, в одной из проток Кобыльего, мы сидели с Григорием Ефимовичем и выуживали из протоки крупных горбатых окуней.

Вокруг было тихо, ни всплесков, ни волн, и нам казалось, что чистое без помаринок небо не обещает в скором времени ветра. Но мы ошиблись. Неожиданно поднялся ветер, да такой, что нашу лодчонку сорвало с якорей и бросило в густой тростник. Кое-как мы пробрались через тростник к берегу, вышли на бугор, спустились на мыс, и во всем буйстве увидели Онего. Оно дышало, вздымая свою могучую грудь выше сосновых бор-

ков. Волна кидалась к берегу и с шумом перекатывала камни, полируя их своим широким языком. Я не мог устоять на гальке, боясь, что прибой смочит меня, отошел и стал смотреть вдаль. Кроме белых гребней волн, я ничего не видел, но слышал, как Онего в ярости катит валы, и они поют величаво и грозно.

— Вот вам и песня, — подойдя ко мне, проговорил Григорий Ефимович. — Такую песню любо послушать, вековую, древнюю. Какая в ней силища!

А песня все ширилась и ширилась. Она доходила до нашего валуна, где мы сидели, с накатом волн. Над расшумевшейся водой неистово кричали чайки.

Подошел Терентий. Он весь вымок, с одежды стекала вода.

— Ты откуда, парень? — спросил его Григорий Ефимович.

Сбрасывая с плеч ватник, Терентий улыбнулся:

— Оттуда, — кивнул он на озеро.

— А лодка?

— А лодка где-то ныряет. Ништо, поныряет, да к берегу Онего пригонит, с пустой лодкой играть не будет.

И снова Терентий поведал нам о буйстве Онего:

— Тогда я еще юнцом был, но повадки озера уже знал. Отец заболел, вот я и выехал осматривать ловушки. Далеко, наверное, километров с десятков от берега. Когда выезжал, то Онего было спокойно. Думаю, все будет в порядке. Возьму из сеток рыбицу, вернусь с уловом...

До сеток оставалось не более километра, уже были видны отцовские приметы, и ни с того ни с сего забушевало Онего. Я смотрел на небо и видел, как черная туча падала прямо на воды. Поднялись волны, и мой карбас стало кидать из стороны в сторону, да так, что я еле успевал поворачивать его навстречу волне. Кое-как догреб до сеток. Ноги расставил пошире и начал выбирать сеть прямо в карбас. В ячеях полным-полно насовалось рыбы: крупные судаки, язи, лещи, да-

же форелины и лосось. Сетку выбрал в лодку, а впереди еще пять. Как назло ветер не утихал. Волна била в корму. Потеряв счет времени, весь мокрый, я все же снял сетки, а волны захлестывали лодку, она наполнялась водой. Взялся за ведро, стал вычерпывать воду. Потом меня отнесло волной, а куда — не знаю. Карбас терял плавучесть. Неожиданно он остановился накренившись. Я вышел из карбаса на песчаную гальку, но не устоял, сел прямо на сырой сыпучий песок, выругался, а сам подумал: как с волнами ни борись, а за матушку землю держись!

## 6

Перед началом заброски невода в воду рыбаки закурили и стали говорить о том, как лучше взять косяк корюшки, если он подойдет. Терентий и Григорий Ефимович все время смотрели вдаль, не появится ли косяк, не покажется ли серебристый бриз\*. Но в протоке было спокойно. Косяка не было. Куда он повернул? Какой тропой пошел? Или, может, опустился ниже ко дну и там идет? Все может быть. Терентий развел руками, на лице беспокойство, озабоченность. Вдруг да рыбица повернет в глубь озера, тогда ищи ветра в поле.

— Малость подождем, посидим, поглядим, — сказал он рыбакам и позвал к себе Петровича.

Петрович по рыбной части большой знаток, более полстолетия промышляет рыбу в Онего и малых озерах, кормит людей. Рассказывают про него, что во время войны плохонькими ловушками занимался подледным ловом и кормил не только семьи фронтовиков в своей деревне Юкса, но и в достатке снабжал наши воинские части, стоявшие на Оштинском направлении. Когда Петрович сел на камень подле Терентия, тот его спросил:

---

\* Бриз — здесь след на воде, создаваемый близко к поверхности движением рыбьего косяка (местное).



— Бывало, дед, у тебя, чтоб не так, не этак, ни богу свечка, ни черту кочерыжка?

Петрович рассмеялся:

— Бывало, паренек, бывало. Иной раз рыбу ловишь, а гороховую похлебку варишь. Как-то за косяком ряпушки я гнался два дня, да обманула она меня. Только на третьи сутки увидел тот косяк, да опять потерял... Обманчивое наше дело и довольно трудное. Рыба сама не придет, ее искать надо. — Петрович посмотрел на Терентия, потом перевел свой взгляд на Григория Ефимовича, тихо проронил: — Волноваться рыбаку не положено. У нас ведь так: девяносто девять раз пусто, а в сотый — густо. Может, корюшка-то сейчас нам спинку покажет, а хвостик мы сами углядим.

— Это тоже бывает? — спросил Терентий.

— Бывает. Часто бывает. Ведь у рыбы свои законы и она их исполняет. Иной раз плавится поверху к тебе в торбу, а потом шмыг и нет ее, на дно улеглась. И коль подождешь с неводом обряться, снова поднимется. Вот уж тогда, братан, не зевай, подхватывай.

И как будто по «закону», упомянутому Петровичем, метрах в трехстах от берега ожила вода легким бризом. Терентий посмотрел на Григория Ефимовича, которому он доверял, как себе.

— Может, пора? — спросил он.

— Сам знаешь, не первогодок, — ответил Ефимович и подмигнул Терентию: — Я ж директор рыбзавода и наезжаю сюда потому, что люблю озеро.

А Терентий уважал Григория Ефимовича за то, что он никогда без надобности не вмешивался в его рыбацкие дела, полностью доверял ему.

7

Не отрывая бинокля от глаз, Терентий поднял руку, быстро повернулся к рыбакам:

— Двое мочи весла. Петрович на выброску невода!

И посмотрел вперед и за первым стражем мыса Кобыльего озера, в большой бухте вторично увидел серебристый косяк корюшки. Она шла к протоке, чтобы, проскочив ее, остановиться подле тростниковых зарослей Кобыльего, а, может быть, махнуть и в Мегро-озеро, которое соединяется с Кобыльим широкой протокой.

Карбас удалился от берега метров на триста и «заглавный рыбак» Петрович стал выкидывать в воду пряжки большого невода. Вот уже взята в полукольцо полукилометровая прибрежная вода, триста метров невода обвели косяк и повернули его к отмели. Вот тут-то, оказавшись в окружении, корюшка заиграла серебром, и вода синими брызгами поднималась и опускалась, а большая луна положила свои лучи на воду бухточки, на серебряные блески корюшки, с какой-то нежностью и спокойствием кинула на серую гальку длинные тени деревьев. Вечер был довольно тихий и теплый. Небо, далекое и синее, застыло в неподвижности.

Когда карбас причалил к берегу, рыбаки разбились на две группы, и, взявшись за крученые веревки, потянули невод. Кольцо поплавков суживалось, а корюшка билась, волновалась, стремилась под невод, чтобы уйти из ловушки. Но было ясно, что невод попал в удачу и корюшке выхода нет.

Я смотрел на рыбаков и думал, с чем бы сравнить их труд. Может быть, с работой шахтеров, которые постоянно, изо дня в день выдают из подземных кладовых «на гора» черное золото?

В первый запуск невода корюшки попало не так уж много, сотни полторы центнеров. Пустой карбас, который мы недавно приплавляли к рыбакам, наполнился больше чем наполовину. Среди корюшки попались крупные язи, лещи и несколько судаков. Закидывают невод снова, и опять же по старой тоне. Я недоумеваю. Подхожу к Григорию Ефимовичу, спрашиваю:

— Почему заброс ведется в месте, по которому только что прошел невод?

Григорий Ефимович щурит хорошие глаза:

— Рыбаки знают, что оставшаяся корюшка будет кружить в этом месте, искать ту, которую мы выловили.

И правда. Вторая тonya оказалась богаче. Карбас уже нагружен до отказа. Я спрашиваю:

— Сколько же вы за свою жизнь достали из Онега рыбы?

Терентий сдержанно ответил:

— Чудак! Разве можно все учесть.

В низине около лекшмозерского болотца прокудрявили зорю журавли. Стаи уток, вылетев из тростниковых зарослей, спешили в протоки на завтрак. На берегах от ветра шумели сосенки. Мы возвращались с пугины в маленькую деревеньку.

Терентий стоял на палубе катера, скрестив руки на груди, и с неиссякаемым интересом рассматривал прионежский ландшафт, как будто видел его впервые. Я же, откровенно говоря, любовался им, сравнивая его с былинным богатырем Алешей Поповичем, и думал: «Не вывелись еще на земле Прионежской богатыри русские».

Рядом с ним стоял Григорий Ефимович. Видно было, что ему все тут нравилось, полюбилось. Когда катер vyplыл на гладь Петровского канала, Григорий Ефимович высоко поднял голову и его глаза от удовольствия заискрились:

— Добро. Красиво. Просторно. Воздух чистый, а водица? Кажется, ее досыта не напиться.

Терентий и Григорий Ефимович сходны по характеру, только Терентий ниже ростом, но шире в плечах и малоразговорчив.

Много раз я видел их на рыбном промысле, людей смелого, спокойного характера. Мне нравилось в них решительно все, что бы они ни говорили, что бы ни делали. Нравилась в их работе полная независимость, манеры в движении, скупой, но довольно понятный разговор с оканьем.

В августе мы выехали на промысел к Черным пескам Онежского озера. Черные пески — древнее название, теперь уже устаревшее. Пески совсем не черные, а самые обыкновенные — серые, и только по вечерам в тихую погоду полоса мелководья от тростниковых зарослей светится голубизной. Пески находятся между устьем Вытегры и устьем Мегры, почти напротив озер Великого и Котечного.

Мы с Григорием Ефимовичем сидели в лодке, которая стояла на якорях в полукилометре от берега, у густого тростника-пуховика. Терентий в этот раз сам забрасывал невод, а когда он был подтащен к берегу, то из него молодой рыбак, которого Терентий называл Васюхой, извлек крупную стерлядь и уже размахнулся ею, чтобы головой рыбины ударить о борт. Всегда тихий, спокойный Терентий вскипел, задрожал, кинулся с кулаками на Васюху, неистово закричал:

— Не смей рыбину бить! Кидай ее в воду! Немедленно...

Окрик Терентия и вся его напряженная фигура остановили рыбака. Васюха не послушался, но с сомнением кинул стерлядь обратно в воду, сказав:

— Может, и эту в воду? — В руках он держал крупного судака и, не дожидаясь ответа от Терентия, как бы в отместку за крик, бросил и судака за борт карбаса, и встал перед Терентием, как будто ждал удара. Но тот пожал плечами, независимо улыбнулся и с горечью проговорил:

— Дураки только для себя пишут законы и по-своему их исполняют.

Эту перепалку рыбаков мы с Григорием Ефимовичем слышали, и он сказал:

— Однако жаль, что еще не все люди отчетливо понимают, что добро и что худо, и делают иногда худое, относя его к добрым намерениям, а жаль...

После, когда рыбаки сели у костра пить чай, Григорий Ефимович, как будто ничего не зная о брошенных стерляди и судаке, начал такой разговор:

— Много лет назад на большом Онего побывал крупный ученый ихтиолог по фамилии Кесслер. Он тогда утверждал, что появление в Онего стерляди — явление совершенно случайное, что стерлядь в озере жить не может. А другой ученый — Поляков, вопреки утверждению Кесслера, заявлял, что стерлядь в Онего была, есть и будет. Но ведь у нас сохранились потомки старых рыбаков, и они утверждают, что стерлядь попала в озеро из разбитого суденышка с мальками. Во времена наместника Олонецкого Тутолмина появилась стерлядь. Вот как она попала в озеро. Его превосходительство пожелало около Лофгмозера вырыть пруд, и заселить его мальками стерляди, сома, осетров. Судно, на котором были мальки, вышло из Санкт-Петербурга, в Онего попало в большой шторм, и около Ивановских островов было разбито вдребезги. Такая же участь постигла и другое суденышко, которое доставляло стерлядь уже взрослую, в подарок сосланной в Олонец царице Марфе Иоанновне. Однако стерлядь прижилась и ее стали вылавливать. В 1784—1789 годах стерляди стало так много, что она в ученых книгах о рыбе числилась наравне с сигом, которого в Онего прорва. Особенно богатым был улов в 1786 году. Потом стерлядь исчезла неведь куда, а через полсотни лет снова объявилась в озерах Великое и Котечное. В 1882 году рыбак из деревни Кузры поймал стерлядь весом в двенадцать фунтов и самолично, в живом виде, доставил ее в Петергоф императору Александру Третьему. В августе 1885 года отец Терентия поймал двенадцать стерлядей в устье Мегры. После этого она опять куда-то исчезла. Куда? Многие пытались найти стерляжью тропинку, но безуспешно. До 1969 года стерлядь в Онего никто не вылавливал и не видывал. А ведь она жила, питалась, а где хоронилась — опять для нас, рыбаков, потемки, и ни один уче-

ный не мог в этом разобраться. И вот в прошлом году, в Вытегорском водохранилище, во время подледного лова, в наш невод попало около полсотни стерлядок, некрупных, и мы их опустили обратно в воду. Это уже есть рыба, и, как видно, она пришла в наши воды не в гости, а на постоянное жительство прописалась. На этот раз стерлядь пришла не в суденышках, а прямым путем с матушки Волги. Пусть Василий не обижается на Терентия. Он правильно поступил. Если Василий сегодня кинул обратно в воду одну стерлядь, то годиков через пять возьмет не одну, а сотню. Богатство голубых вод надо оберегать, приумножая его, мы облагораживаем самих себя, создаем запас рыбы для себя же.

— А ведь правда, — отозвался Петрович. — Раньше-то мы рыбу оберегали, мелочь совсем не брали.

— А теперь берут всякую. Поглядите, что делается вечером у Вытегорского водосброса. Сколько рыбаков, и все с сачками, а что они ловят? Тьфу, мелочишку. И зачем бы так-то, ведь крупной хватает! — добавил Василий. — Мне жаль снетка, который идет к нам из Белого озера, сколько его в пути истребляют. Задержать бы. Пусть в Онего идет и размножается.

Поднялся легкий ветерок, и Онего задышало глубже, стало сердиться. Косые волны обдавали карбас синими брызгами, и он качался на воде, словно детская рыбка.

Последняя тоня была тощая. Южный ветер гнал рыбицу к северному берегу. Однако это не напугало рыбаков. Терентий знал, что Онего не Волга, не Дон, не Днепр, где в штормы рыба жметя к берегам и ее легко вылавливают. Здесь она в ненастье уходит на глубинку, к островам, которых полно в Онего.

На этот раз мы рано возвратились с промысла. В избе у Терентия было тепло и приветливо. Хозяин, раздевшись, прошел в комнату к кровати, где спали его дети, поправил упавшее с них одеяло, улыбнулся с плохо

скрытой радостью, а выйдя из горенки, не без гордости проговорил:

— Будущие рыбак и рыбацка, — снова улыбнулся. — У нас в семье уж так повелось: мой прадед, дед, отец были рыбаками, ну и я, стало быть, тоже в них удался. А мои дети? Тут, брат, понять надо! У них образование по рыбной части будет настоящее, не доморощенное. И рыбицу они будут вылавливать не сетками из «китайских ниток», из которых еще мой отец вязал снасти и в наследство оставил, а капроновой сетью будут ловить. В это я верю.

9

До чего хорошо, когда над тобой ясное солнышко греет, тело в истому кидает, и коль спрячется оно за вуалью небольших облаков, то сразу повеет прохладой, ароматом лесных цветов, да и певчие птицы веселей запоют.

После сытного завтрака, что спотовила жена Терентия, мы с Григорием Ефимовичем идем на улицу, садимся под березку, долго молча курим, думаем, мысленно выясняем, что пропустили во время путины, чего не доделали. Потом дремота одолевает нас, и мы растягиваемся на шелковой траве. Легко дышится, спокойно сердце бьется.

На обводном канале стрекочут моторы, шумит вода. Рыбаки, любители природы едут в мегринскую веселую бухту на отдых. Едут порыбачить, сварить уху на берегу и с удовольствием сесть в большое застолье с ложкой-долбленкой. В эти выходные дни маленькая Мегра Онежская попадает в полное окружение лодок с подвесными моторами разных конструкций.

Сколько это несет радости мегровчанам, сколько прелести увидят тысячи вытегорцев, вознесенцев в большом и тихом Онего.

Проснулся я раньше Григория Ефимовича, он еще

крепко спал, разметав руки на мягкой траве, и, по всей вероятности, снились ему добрые сны. Солнце уже по-лыхало за голубым полушалком западной зубчатки лесного края. Я сходил к каналу, помылся его водой и добрым вернулся к месту нашего отдыха. Григорий Ефимович, уже одетый, сидел на свежесрубленном пеньке большой ольшанины, доедал оставшуюся с вечера копченую форель.

— Не хочешь погрызть? — спросил он меня.

— Нет, не хочу.

— Тогда думай, где будем вечерять да зорьку встречать.

Я ему ничего на это не ответил, а он спросил:

— Видал ли ты, Григорий, весенний танец журавлей?

— Нет, не видывал.

Григорий Ефимович усмехнулся:

— Ты ж, парень, охотник, и не увидишь такое диво — стыдно.

— Нисколько не стыдно, ведь такие дива не каждому кажутся, — ответил я.

— Хочешь поглядеть?

— Очень.

Григорий Ефимович посмотрел на часы, на закат солнышка, заторопился, закричал:

— Скорей едем, едем!

— Куда?

— На танцы.

Я расхохотался от всей души, а он рассердился:

— Чудик ты вольнодумный, разве над таким дивом можно смеяться. Это ж кладезь ума и разума. Поехали!

Мы круто обрядили лодку, свалили в нее свои пожитки, взяли на пироги у Терентия крупной рыбы и отчалили от берега Мегры Онежской. А когда мотор взревел, я опросил Григория Ефимовича:

— До места танцплощадки далеко?

— Нет, туточки за перекатом, рукой подать.



Но пережат оказался в тридцать километров. Мы ехали по обводному каналу в направлении Вытегры, и я все ждал, когда капитан свернет лодку в кусточки, остановит мотор и скажет: «Приехали». Больше часа, на полном газу он гнал лодку, и только тогда, когда стал виден малый маяк, Григорий Ефимович сбавил ход, завернул в протоку, соединяющую канал с озером Котечное, повернулся ко мне, шепотом проговорил:

— Здесь, парень, здесь их танцплощадка.

С большими потугами мы добрались на веслах до Котечного и в густых зарослях ивняка правого берега остановились.

— Посидим, поглядим, как птица танцует, — сказал Григорий Ефимович, улыбнулся, погрозил мне пальцем: — Смотри, с птицей не заигрывай, ружье оставь в покое да и сам не вздумай вместе с ними вытанцовывать, — а потом, закурив, с ехидцей добавил: — Такое тебе еще не осмыслить, ты в таких делах не осведомлен.

Над протокой да и над тростником озера поднялся легкий туман, прикрывая собою водную гладь, как кисейной занавеской. Прямо перед нашими глазами была небольшая лужайка, да такая, что если корова ляжет на нее, то ей хвост протянуть некуда, в кусты угодит.

— Вот тут, на этой лужайке они будут вытанцовывать, — тихо проронил Григорий Ефимович.

— Гопака? — спросил я.

Косо посмотрел на меня старый рыбак, но промолчал, не уколол.

Рядом с нами на свободной от тресты водной глади, спокойно, не чувствуя постороннего взгляда, купалась стая уток, разговаривая на своем языке, ведомом только им одним. Григорий Ефимович был не охотник, в жизни ружья не имел, не стрелял из него, и теперь с безразличием смотрел на утиные забавы. А я? С детства с ружьем не расставался. Еще в девятьсот десятом году дед подарил мне ружье «Стромберг», которое я заряжал

всегда со стула, а в лесу с кочки или с пенька, и стрелял с подставки из ольшанины. Сейчас рядом со мной, в лодке, стояло ружье полукрупповской стали «Ястреб», и, завидя уток, я, точно гончая собака, душой взлаивал, но для друга молчал. Он видел все это по моему лицу, подразнивал меня: мол, чего сидишь, какого лешего не стрельнешь — утки-то к тебе на ствол вешаются и в кошевку сами просятся. И в самом деле, утки безбоязненно подплывали к нашей скрытой в кустах лодке.

— Тш-ш-ш-ш... — Услышал я шепот Григория Ефимовича. — Кажется, гости появляются.

Я посмотрел в небо и увидел девять крупных птиц. Это были журавли. Они без крика летали над луговой и, очевидно, высматривали, нет ли кого поблизости. Потом, убедившись в безопасности, стали по очереди приземляться, а приземлившись, все сбились в одну кучу, образовав круг, и смотрели во все стороны.

Мы сидели в лодке, в густом ивняке, и нам через ветки была видна вся лужайка с журавлями, которые, ткнувшись хвостами друг к другу, стояли, молчали, не двигались. Журавки были от нашей лодки метрах в двадцати. Минут пять они стояли на месте, а потом один, по всей вероятности, их вожак, вышел первым из кучи, ясным и зычным голосом прокурлыкал два раза, этим давая остальным понять, что, мол, время начинать танец зари. Журавли сразу окружили вожака и стали ходить вокруг него поочередно, своим криком возвещая, что они начали танец.

Широко раскинув исполинские крылья, в самом центре стоял большой петух — журавль и все время выговаривал «кур-ли-кур-ли-кур-ли...» значит, спрашивал, не пора ли повеселее. Приняв сигнал вожака, остальные стали бегать вокруг него, задрав голову и распустив крылья, но ими они не махали, а держали в одинаковом положении, а нам, смотрящим из-за веток ивняка, казалось что на лужайке не журавли танец ведут, а распустился большой бутон лилии.

Потом вожак закрутился на одном месте, да так быстро, что я еле-еле успевал следить за ним, а потом круто встал, точно вкопанный, опустив клюв к земле, а остальные, соединившись в четыре пары, разбежались по мелким кусточкам и долго оттуда не появлялись. Призывный клич вожака снова вернул их на место, и новая кадриль началась. Сейчас они степенно ходили наперекрест и каждый старался поклониться, поприветствовать друга с прилетом в родные края, а уж потом, сгрудившись, сомкнувшись клювами в одной точке.

Долго танцевали журавли. Мы с Григорием Ефимовичем забыли счет времени, да надо признаться, чертовски захотелось курить. Я потянулся в карман за сигаретами, а Григорий Ефимович уже потихоньку курил. Однако дым от табака, пробиваясь сквозь ветки, сразу терялся в тумане, а на озере по-прежнему спокойно купались утки.

С наступлением темноты журавлиная стая растаяла. Куда они убежали, для нас осталось тайной. В воздух они не поднимались, очевидно, укрылись в кустах до утренней зари.

Мы вытолкнули лодку из зарослей и скоро вывели ее в протоку. Григорий Ефимович запустил мотор и повез меня не в Мегру Онежскую, а в ночную Вытегру.

На душе было так радостно, как нежен и радостен был весенний танец журавлей.

## НА ШУЛТУССКОМ ОЗЕРЕ

### I. Настоящий характер

**А**ВЕРЬЯНА Кирилловича Шахова, сына первого председателя первого комбеда, Кирилла Петровича Шахова, на этот раз я застал у себя в дому. У порога избы меня встретила Стрекоза — шустрая собачонка из породы сеттеров. Она, виляя шерстастым хвостом, взвизгива-

ла, что ситец рвала. Хозяйка Матрена самовар водой наливала, мне шептала:

— Мой-то Аверя, как стеклышки на верхотуре установил, день-деньской наблюдения ведет. Кто его знает, — вздыхает Матрена, — может, и взаправду ему приказано всех ершей в озере сосчитать да по начальству доложить. Тоже себе рыбнадзор...

Не задерживаясь, я снял с плеч берестяный пестерик, прошел в сени и, поднявшись на веранду, сразу заметил старика. Он умиротворенно сидел и в самоварную трубу разглядывал большое озеро.

— Аверьян Кириллович, мое вам почтение...

— Ась? — Старик вскочил, взлохматил седую бороду, пряди разлетелись в стороны, ответил: — Добро-го добра. С дорожки чайком, поди, хочешь побаловаться.

И, не дожидаясь моего ответа, открыл в полу отдушину, крикнул в ее оконце:

— Матреша! Сготовь для гостя чайку покрепче да побольше!

— Чую, Аверьянушка, чую!

Аверьян Кириллович на трубу показал, с уважением проговорил:

— Лаборатория. Все видит, на стеклышках все обозначается. Поди ж ты! Озеро в длину двенадцать километров да в ширину десять — глазом не взять, а поглядишь в стеклышко — и все тебе на блюдечке подается. Каждую приметину видишь, каждого разбойника найдешь. А их теперь развелось уйма. Пока озеро было бесхозное — рыбаки были степенные, каждой мелюзгой дорожили, а как озеро в государство перешло да меня рыбнадзором затвердили — воруют рыбу, да и баста, особливо браконьерствуют деповские. Тол достают, известь негашеную в бутылках в воду бросают, аммоняльничают. Ты печешься, печешься, лекции да нотации деповским читаешь, а они хочь бы что, паясничают, браконьерствуют и на законы плюют.

Аверьян Кириллович поглядел в трубу, выпрямился, головой тряхнул, простонал:

— Опять в Черном плесе балуются. Видишь, сколько дыму напустили? Аммональщики...

Я подошел к самоварной трубе и поглядел в сторону озера. У островка, что зарос сосняком, вился дымок. Он застилал прибрежный тростник. Я хотел что-то спросить у Аверьяна Кирилловича, повернулся к нему, а его и след простыл. Поглядел в стеклышко трубы. Прямо передо мной в направлении дымка быстро скользила лодка, а в ней маячила семафором красная рубаха Шахова.

— Ох и даст опять деповским жару! — гомонила Матрена. — Ох и даст...

Через полчаса вернулся Аверьян Кириллович, потный, возбужденный. Следом за ним в избу вошли три рыбака. По одежде было видно, что деповские: все рубаши в мазуте, фуражки с околышками, что у заправских машинистов. Несмело на угол посмотрели, меня глазами умыли. Аверьян Кириллович на стол ведерную бадейку поставил, рукой ковырнулся, мелюзга на стол посыпалась. Он с раздражением проговорил:

— Рыбу аммоналили, беззаконники. — К рыбакам повернулся. — Видели ли вы, как чиста вода в нашем Шултусском озере? Видели. Ну, вот и похвально, что заметили. На целом свете оно одно — чистое, неглубокое, просторное и рыбное. С исстари его любят. А вы вот пакостничаете. — Аверьян помолчал немного, смахнул со стола мелюзгу рыбу, спросил: — Квитанцию на штраф сейчас выписывать аль через милицию?

## 2. На вечерней зорьке

У Шултусского озера, что расположено в двадцати шести километрах от города Няндомы, в тринадцати километрах от тракта Няндомы — Каргополь, было пять дочерей. Речки Иласега, Черная и Пойменная по-

или озеро своими светлыми водами, а речки Нименьга и Шултусиха собирали все пойменные воды, захватив с собой лишнюю шултусскую воду, и сплавливали их через богатые известковые увалы, первая — в Волошку-реку, а вторая — в Черные озера. Благодаря этому в Шултусском озере вода всегда стояла на одном уровне, а если и взбаловнет, то только в апрельском разводе. Озеро неглубокое. Самая большая глубина в Студеной курье доходит до трех метров, а дальше по всему озеру метр и два, а то и меньше. Озеро чистое, без задевов. Тростника много по ветру шепчется. Тростник там густой, косяками да островками от берегов тянется, а то и посередке озера разляжется, нежится — там утиные гнезда бывают. Не увидишь — не сглазишь.

Посередке озера островок что гусиное яйцо. В старину этот островок был запретный для рыбаков. Туда допускались только «непорченные». На пригорке островка, рядом с березовой райкой, стояла трехглавая церковь с позолоченными куполами. Церковь хоть срублена одним топором, а, дьявол, красива была — загляденье! Вот что значит мужицкая работа. На время служения верующие с деревенских берегов на остров плоты перекидывали и по ним проходили. По крайней мере так говорят старики, я не видел.

Сейчас этот островок для любителей-рыболовов базой стал, курортным местом отдыха явился. На него в теплые летние вечера после зоревания собирается столько рыбаков, что для каждого деревин не хватало, чтоб рюкзак повесить и самому притулиться.

В развилку тростниковых зарослей мы с Шаховым приехали на лодчонке в то время, как весь остров да прибрежные тростники были оцеплены рыбаками. Тишину нарушали нечастые всплески волн, неясный говорок рыбаков. Слышали мы с Аверьяном Кирилловичем, как в зарослях тростника кто-то кричал: «Тэк... тэк... тэк...». На этот голос отзывался другой: «Квэ... квэ... квэ...».

Потом эти звуки сменялись тихим жвяканьем, и в камышах раздавались всплески воды и чистое: «Трль... трль... трль... ноль... ноль...»:

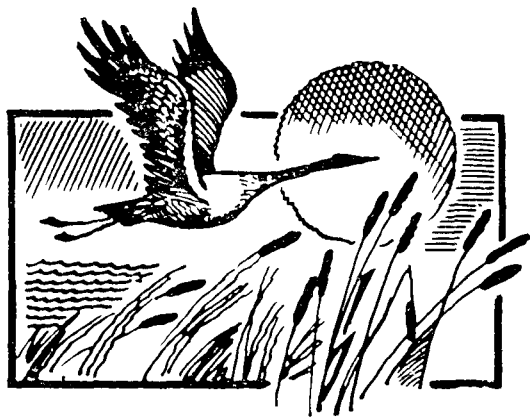
Зорька была тихая да теплая. Далеко в вышине неба появился месяц и заскользил своим светом по верхушкам леса, освещая серебристо-голубой наряд березовой рощицы да краснотельные стволы с золотистой кожей сосен.

На берегу островка запылали костры.

— Эге-гей!

Вечером эхо летит далеко-далеко, а по воде, словно колобок, без остановок катится до самых пойменных мест, а там зайдет за горушку и замолкнет.

Очень приятно.



## СОДЕРЖАНИЕ

На зимовье Спорного лога . . . . .	3
Незабытая встреча . . . . .	26
На огонек . . . . .	33
Огненный шарик . . . . .	38
Умницы . . . . .	41
Хозяева сопки . . . . .	43
Русалкина коса . . . . .	45
Конец «черного дьявола» . . . . .	47
Яшка Чиж . . . . .	50
Лесная кузница . . . . .	53
Осиновое корыто . . . . .	56
Асаф и выдра . . . . .	58
Белый косач . . . . .	64
Старик и озеро . . . . .	63
Песня Большого Онего . . . . .	73
На Шултусском озере . . . . .	90



**Ефим Григорьевич Твердов.**  
**НА ЛЕСНЫХ ТРОПИНКАХ**

**Редактор В. К. Лиханова**  
**Художник Б. И. Шабает**  
Художественный редактор **В. С. Вежливцев**  
Технический редактор **С. И. Соколова**  
Корректор **А. А. Фонтейнес**

---

ГЕ00230.

Сдано в набор 1/XII-1972 г.  
Подписано к печати 25. 1. 1973 г.  
Формат 70×108/32. (Бумага типографская № 1).  
Физ. печ. л. 3. Усл. печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 4,2.  
Тираж 15000. Заказ 8419.  
Цена 14 коп.

Вологодское отделение  
Северо-Западного книжного издательства.  
Вологда, Ветошкина, 37.  
Областная типография, Вологда, Калинина, 3.

14 кол.